

Crème de la Crème



Рене Кревель

ТРУДНАЯ СМЕРТЬ

перевод Валерия Нугатова



Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр

18+



René Crevel
La Mort difficile

Редактор: Дмитрий Волчек

Обложка: Алексей Кропин

Верстка: Дарья Громова

Руководство изданием: Дмитрий Боченков

©Kolonna Pulications, 2017

© 2017, Валерий Нугатов, перевод

ISBN 978-5-98144-234-6

СЛОВО ЗА СЛОВО

Мадам Дюмон-Дюфур и мадам Блок говорят о своих горестях, то есть о своих мужьях. Мадам Дюмон-Дюфур, которая стала бы юристом, как и ее покойный отец, председатель Дюфур, если бы ей посчастливилось родиться мужчиной, внезапно отказывается от перечисления отдельных преступлений и переходит к обвинительной речи общественного звучания, говоря напрямик – словами, что сами для себя закон (по ее заверениям).

... Да, закон, ибо кодекс настолько туп и пристрастен, что, хотя мсье Дюмон изо всех сил устраивал бедлам, ныне его жена осталась даже без шансов на развод.

За неимением неба, глаза призывают в свидетели потолок, а руки заламываются изо всех сил. Мадам Блок думает о том, что мадам Дюмон-Дюфур подошла бы большая гостиная, украшенная пятьюдесятью люстрами, семьюдесятью пятью роялями и бессчетным множеством жирандолей. Но в действительности ей нужна не гостиная, пусть даже большая. Мадам Дюмон-Дюфур ассоциируется с целой страной, континентом и даже больше – с царством своих воспоминаний. Царство воспоминаний. Толща морской воды,

сквозь которую проступает затонувший город, ведь иллюзии мадам Дюмон-Дюфур – на дне, дорогая мадам Блок, глубоко на дне. Что осталось у нее на этом свете? Сожаления, память о безотрадных поступках. Ну а что касается будущего, мы не смеем о нем даже думать. Будь она из тех сумасбродок, что довольствуются воображением, наверное, мадам Дюмон-Дюфур коротала бы дни за воображаемыми реваншами. Но увы, мадам Дюмон-Дюфур любит пышность, и ей импонируют высокие горы, черные визитные карточки с титулами, украшенные султанами катафалки, венчанья при мерцающих канделябрах, лилии без пыльцы и женатые люди за тридцать. Мадам Дюмон-Дюфур предпочитает величественность страусовых перьев пестроте райских птиц, однако она не только не утолила своих возвышенных чаяний, но и должна теперь отказаться от надежды когда-либо удовлетворить свои благородные вкусы. Существой на этом свете справедливость, теперь, на склоне дней, мадам Дюмон-Дюфур удостоилась бы собственного царства воспоминаний – столь же безмятежно благородного, как Версаль маркизы де Ментенон. Но вместо этого, черпая в своей гордости силы для того, чтобы не презирать восторженное смирение и охотно утверждать, что люди – прах и ничего, кроме праха, однако стыдясь комнат, выходящих во двор, мадам Дюмон-Дюфур терзается тем, что не может хоть чем-либо вызвать зависть мадам Блок. Ее прошлое – царство воспоминаний. Не что иное, как пошлый чулан, куда, впрочем, она даже не вправе окончательно отправить жалкие аксессуары своей супружеской жизни, поскольку – и это факт! – развод для нее по-прежнему невозможен.

Мадам Блок знает почему?

Мадам Блок не знает почему, и ей не терпится это узнать, но она боится показаться бестактной.

Бестактной?

Десница всевышнего развеивает сомнения.

Бестактной?

Значит, у них есть секреты друг от друга? Раз уж они обе такие страдальницы, зачем щадить в своих откровенных признаниях этих палачей-мужчин? Они просто две женщины в отёйской гостиной – две сестры по несчастью.

Сестры по несчастью – вот точное выражение. И нашла его, разумеется, мадам Дюмон-Дюфур. Она гордится этим так же, как и марокканскими медными блюдами или китайскими вазами. Сестры по несчастью. Эпитет непременно сделает свое дело. Мадам Дюмон-Дюфур подняла его, как знамя, и чувствует, что извлечет из этого стяга столь же поразительные дивиденды, как и Ламартин из трехцветного флага. Теперь у мадам Дюмон-Дюфур есть эгида, условный знак. Кроме того, если она напоминает Ламартина у окна Парижской ратуши, то наделена и другими достоинствами, причем более редкостными, нежели красноречие, и мадам Блок, знакомая с историей Франции, охотно сравнила бы ее с Генрихом IV. Белого плюмажа пока не заметно, но он обязательно замаячит. Только вдумайтесь: сестры по несчастью.

Наступает пауза. Два неподвижных тела кажутся полыми. У самой мадам Дюмон-Дюфур пустота порождает представление о бесконечности – ей уже кажется, что у нее высосали душу одним из тех аппаратов, которыми чистят ковры.

Но вот веки мадам Блок увлажняются. На самом деле ни горестные воспоминания, ни нежность, с какой были поданы чай и тосты, ни безутешное зрелище, на которое указывала мадам Дюмон-Дюфур при каждом повороте обзорной фразы, не объясняют этой влажности ресниц и дрожи в ноздрах. Нет, истина на сей раз предельно проста: мадам Блок жаждет – она жаждет узнать.

8 Мадам Блок живет со своей дочерью Дианой, а та вечно бродит по горам по долам (имеются в виду кино, театр, друзья и Бог вещь какие еще места) – повсюду, куда не побоится отправиться современная девушка. Диана гораздо лучше осведомлена, нежели ее мать, поскольку она танцует, пьет чай и коктейли, занимается живописью и знакома с художниками, однако она не разговаривает. В два счета управляясь с едой, Диана открывает рот лишь затем, чтобы есть.

Поэтому бедная мать ничего не знает о том мире, от которого ограждена своими горестями.

Разумеется, есть кузен Брикуле – Оноре Брикуле. Он приходит по утрам, часов в десять, целует мадам Блок в обе щеки и намекает, что вдовец (вот уже скоро десять лет, как мадам Брикуле была вырвана из любящих объятий своего дорогого Оноре) и вдова (мсье Блок наложил на себя руки вот уже больше десятка лет назад) могли бы составить супружескую чету. Мадам Блок умиляется. Брикуле интересуется ее финансовым положением, всякий раз спрашивает о новых подробностях самоубийства мсье Блока и решает ретироваться, лишь когда Диана, которая его терпеть не может, приходит на обед и вместо приветствия отпускает изрядную грубость в его адрес.

После ухода Брикуле мадам Блок, собравшись с мужеством, отчитывает дочь.

- Ты была нелюбезна с кузеном Оноре.
- С этим гадким селезнем? (Брикуле гнусавит.)
- Диана, ты несправедлива.
- Наверное, он снова наговорил вам нежностей, растрогался и просил вашей руки. Моя бедная матушка. Он зарится на наши гроши. Это отвратительный хапуга. Он обдерет нас как липку.

Диана напевает:

Брикуку, Брикуку
Брикуле
Обдерет нас
Как липку –
Алле!

9

А затем продолжает:

- Остерегайтесь этого Брикуле.
- Диана, от злости у тебя помутился рассудок.
- Его интересуют не вы, а ваши беды. Он любит лишь хандру. У вашего дорогого Оноре забавные вкусы. Мне говорили, он обожает телячьи внутренности. Он питается тем же, что и его кошка.

Теперь Диану уже не остановить. Брикуле ее вдохновляет. Мадам Блок приходится ее сдерживать. Самое печальное, что кузен заметил эту неприязнь. Его визиты становятся реже. Но мадам Блок хотела его расспросить о мадам Дюмон-Дюфур и прежде всего о ее невидимом супруге, которого Оноре знал еще с коллежа. А еще ей бы хотелось, чтобы человек с опытом высказал свое мнение о сыне мадам Дюмон-Дюфур, Пьере Дюмоне – потенциальном зяте, ведь он лучший друг Дианы и так же, как и она, занимается живописью.

Однако Брикуле отомстил матери за враждебность дочери, и мадам Блок так доселе ничего и не узнала о мадам Дюмон-Дюфур, с которой, тем не менее, побывала прошлым летом на море. Впрочем, август не подходит для откровенных признаний, и только в этот осенний день в серой отёйской гостиной, уже отвыкшей от белых платьев, обе дамы, по выражению мадам Дюмон-Дюфур, узнали друг в друге сестер по несчастью.

10

А поскольку мадам Блок неосторожно призналась, что почти непрерывно скучает с первого января по тридцать первое декабря каждого года (не считая дневного Концерта Колонна раз в неделю по субботам¹), у мадам Дюмон-Дюфур скопился целый ворох сплетен, от которых на глаза ее сестры по несчастью наворачиваются слезы, точь-в-точь, как у гурмана начинают течь слюнки от одного аромата вкусного блюда.

Способная оценить с первого взгляда свою публику, мадам Дюмон-Дюфур тут же заметила эту потребность и решила подождать, прежде чем потчевать своим главным лакомством. Для начала – несколько первых истин вместо закуски. Мадам Блок начинает кусать губы, пока мадам Дюмон-Дюфур возносится над людьми, событиями и вещами.

Ничто не в силах остановить ее вознесения.

Посреди фразы она вставляет слово «жалость». А ведь это маленькое научное рассуждение.

1 Колонн, Эдуар (1838–1910), французский дирижер. В 1873 г. основал совместно с Ж. Хартманом концертное общество «Национальные концерты» (позднее «Концерты Колонна»). В репертуаре преобладали произведения современных французских композиторов. – *Здесь и далее прим. перев.*

Жалость тут и там – да, жалость, дорогая подруга, жалость... и при этом мадам Дюмон-Дюфур заявляет, что ни на минуту не забывает о практической стороне. Да и как жить, если ее игнорировать? Совершенство в этом мире недостижимо. Человечность почти ничего не стоит. К тому же непонятно, за кого и за что хвататься. Тут ведь столько обстоятельств: невезение, наследственность, дурные склонности. Бедная мадам Дюмон-Дюфур: несмотря на ее методичный, здравый ум и мудрое сердце, у нее так ничего и не получилось. В частности, ее сын Пьер, чья кормилица была алкоголичкой (вот вам пример невезения), обладает вспыльчивым характером. Впрочем, есть в кого, ведь его отец (вот вам пример наследственности) всегда проявлял точно такую же горячность. Но все это было бы пустяками, если бы упомянутый Пьер не отличался причудливым вкусом и любопытством (вот вам, наконец, пример дурных склонностей), которые совершенно обоснованно тревожат его мать. Хотя можно лишь порадоваться его нежной привязанности к дорогой Диане, нельзя не опасаться самых страшных последствий его дружбы с чужаками, приехавшими невесть откуда. Да, чужаками! Франция, Париж и, что страшнее, Пьер Дюмон попали к ним в лапы. Молодежь теряет голову. Пусть мадам Блок присматривает за Дианой. Мадам Дюмон-Дюфур, конечно, вынуждена отпустить Пьера на все четыре стороны, но бедная женщина тяжело от этого страдает. Сколько бессонных ночей и безрадостных дней! Плоть слаба. Молодежь двадцатого века поддается всем искушениям современного Вавилона и каждый год изобретает новые. Во времена мадам Блок и мадам Дюмон-Дюфур юноши влю-

блялись в барышень из «Максима» – в цыпочек, как говорил мсье Дюмон, а девушки мечтали о цыганах с брандебурами и красивыми усами. Теперь же девушек из «Максима» вытеснили какие-то авантюристки, проститутки всех стран и полов. Цыган больше нет, зато есть негры, играющие на саксофоне. Мы изобрели пороки, напитки, наркотики – чем все это кончится? Мадам Дюмон-Дюфур права: их следует пожалеть. Она это знает – ей ли не знать? Господи, какой горестный жизненный опыт...

Что же делать мадам Блок, которая сгорает от нетерпения, сидя у фортепьяно в штофном обуюсоновском кресле? Сегодня в мадам Дюмон-Дюфур вселился председатель суда присяжных или адвокат. Еще никогда не ощущала она в себе такого красноречия и отдается ему, не пренебрегая ни одним приемом ораторского искусства, которым ее отец не стеснялся пользоваться даже в семье. Ее голос скользит над бедой величаво, как черный лебедь. Умрет ли она посреди мебели, лицезревшей все ее страдания, на глазах у гостьи, не способной последовать за ней в этом полете? Мадам Дюмон-Дюфур уже читает надгробную речь над собственной могилой, утяжеляя звуки, растягивая, продлевая и лаская их языком, словно они сулят вечный освобождающий сон. На минуту она мечтает превратить их в оружие для защиты от дерзости Пьера, да и от вселенской злобы, но в своем отчаянии принимает смерть, призывает ее и уже сплетает цветочные венки. Эти венки затем превращаются в ткани и покрывала, в которые она облачается, словно аллегория супружеского горя, перед мадам Блок, уже грызущей удила: ей не терпится встать и спросить, долго ли она собирается над ней из-

деваться? Еще немного, и кроткая мадам Блок задумается об ультиматуме. Скажите сейчас же, почему вы не можете получить развод, иначе...

Но увы, никакой возможности вставить слово или сказать, что не следует быть такой строгой. Если это открытие послужит заключением доклада о нравственно-метафизических теориях, то столь долгожданный рассказ, возможно, наконец, начнется.

Мадам Блок мечтает о заключении. Причем любом. Поэтому она радостно говорит:

– Не следует быть такой строгой.

– Согласна, но всему есть предел, – продолжает неутомимая мадам Дюмон-Дюфур. Мсье Дюмон предавался излишествам лишь для того, чтобы откреститься от человека, каким его жена не ощущала себя даже во время медового месяца. Полностью с ним солидаризируясь, она добавила к той фамилии, которую ее обязывает носить закон (словно для того, чтобы настолько же ее умалить), гораздо более почтенную фамилию своего покойного отца, председателя Дюфура.

Так мадам Эдгар Дюмон стала мадам Дюмон-Дюфур.

Честно говоря, эти две почти одинаковые фамилии по обе стороны дефиса слегка ее утешают, но, не стремясь к легким успехам, она старается не показывать, что гордится именем Дюмон-Дюфур, мадам Блок, которую считает еврейкой.

Тем не менее, мадам Дюмон-Дюфур признается вслух, что двойная фамилия, вопреки своей кажущейся простоте, дает представление о том, какой могла бы стать аристократия Третьей республики, если бы мы старательно чтили заслуги

французского среднего класса – того класса, дорогая подруга, что беспрестанно поставлял государству отборных слуг.

Так, например, мадам Дюмон-Дюфур – дочь судьи, а ее муж, пусть он и оказался человеком недостойным, все же полковник.

Пауза.

14

Кузен никогда не говорил мадам Блок о том, что мсье Дюмон – полковник. Но раз уж он полковник, это все объясняет. Мадам Блок громко ахает на всю отёйскую гостиную, как не мог не ахнуть Христофор Колумб, когда он открыл Америку или способ вертикально поставить сваренное всмятку яйцо.

Но мадам Дюмон-Дюфур уже пресекает это ликование:

– Только не подумайте, что я не могу развестись и обречена дарить безымянную визитную карточку лишь потому, что мсье Дюмон – полковник.

Она читает по складам воображаемую надпись:

«МА-ДАМ ДЮ-МОН-ДЮ-ФУР»

и отмечает:

– Что может быть печальнее карточки без имени!

«...и коровы без вымени», – так и хочется добавить мадам Блок, которая уже решительно не может удержаться от того, чтобы счесть мадам Дюмон-Дюфур позершей.

Однако она еще пытается проявить смирение и качает головой вверх-вниз, а затем слева направо. Между тем собеседница не желает утаить от нее ни единой подробности:

– Мне еще нет и сорока пяти, но никто больше не зовет меня Луизой. Луиза – так назвала меня крестная, которая...

После «жалости», после «горестного житейского опыта» еще и «крестная»!

Нет уж, мадам Блок не даст себя провести.

– Хорошо, что ваша крестная назвала вас Луизой, вам не на что жаловаться. Как мило – Луиза Дюфур! Жаль, что вы не можете развестись, начать жизнь заново.

15

Мадам Блок машет словами, словно красными тряпочками над лужей с лягушками: «Развестись... Начать жизнь заново». И мадам Дюмон-Дюфур повторяет, расставляя органичные пункты над каждым слогом:

– На-чать-жи-знь-за-но-во.

Какой задумчивый взгляд на лице мученицы-супруги! Но мадам Блок, зная, что дочь председателя Дюфура – никакая не мечтательница, клянется себе самой, что не поддастся на обман и не отступит до тех пор, пока не узнает причину... Но она даже не успевает выразить эту решимость, как ее уже спрашивают:

– А как зовут вас, дорогая подруга?

Мадам Блок произносит свое имя, и тут же начинается обмен комплиментами:

– Как нежно – Эрминия!

– Как сильно – Луиза!

– Эрминия – как невинно!

– Луиза – как духовно!

– Эрминия – имя для блондинки (у мадам Блок волосы как мочало).

– Луиза – имя для брюнетки (у мадам Дюмон-Дюфур волосы как смоль).

– Эрминия – идеальное имя для возлюбленной.

– Луиза... Луиза... (Полно, нечего скупиться, мадам Блок) Луиза – идеальное имя для императрицы.

– Вы и впрямь считаете, что Луиза – это хорошо?

– Да, я так считаю.

И, как ни в чем не бывало, мадам Блок возвращается к своим баранам:

16

– Как красиво звучит – Луиза Дюфур. Жаль, что вы не можете развестись.

– Да, очень жаль. Но вы себе даже не представляете, как я счастлива, что вам нравится имя Луиза. Мой сын Пьер постоянно изводит меня из-за него. Он дошел до того, что заявил (дети утратили всякое чувство уважения), что Луиза – идеальное имя для солдатской подстилки. На днях он имел наглость сказать это перед вашим кузенком Брикуле. Я бы дала ему пощечину, хоть ему уже двадцать лет. Да и потом, скажите на милость, разве мой отец позволил бы окрестить меня, как солдатскую подстилку?

Мадам Блок топчется пятками по ковро:

– Вы говорили, дорогая подруга, что не можете развестись. Почему?

Жертва мужских законов собирается с мыслями:

– Потому что полковник Дюмон...

Доверительный тон требует, чтобы голос замирал в конце фразы, и потому мадам Блок не слышала последнего слова. Она кричит:

– Что-что?

В запасе больше не осталось эффектов, и вот слышится возглас (на сей раз торжествующий): мсье Дюмон безумен, безумен, безумен!

Вчера, в субботу, на Концерте Колонна давали Баха, и в ушах мадам Блок все еще звучит вызов Пана и Феба: «Безумен, безумен, безумен, его рассудок помутился». И вот безумие полковника Третьей республики переключается с двухголосым напевом: «Безумен, безумен, безумен...»

У Мадам Дюмон-Дюфур не очень крепкие легкие, и потому она умолкает первой.

Мадам Блок спешит последовать ее примеру, и вновь возникает пауза, в которой мадам Блок пытается представить себе полковника:

Полковник, старший офицер должен носить усы, перечерчивающие лицо по моде 1907 года.

Полковничьи усы... Пусть мадам Блок и добродетельная женщина, но она вынуждена признать, что с трудом переносит вдовство. Диана целыми днями советует ей выйти повторно замуж, но и слышать не желает о Брикуле, хотя это единственно возможная партия. Мадам Блок боится своей дочери и потому хранит верность Дмитрию Блоку. Но, что бы там ни говорила Диана, это воздержание дается нелегко. Поэтому, едва подумав о полковничьих усах, бедная Эрминия приходит в величайшее возбуждение. У нее немеют кончики пальцев, она гладит подлокотники кресла и мысленно твердит, что полковничьи усы, наверное, колются, когда целуешься. Но кто говорит о поцелуях? Что бы подумала Диана, знай она, что ее мать так распускается? Диана – ее дочь, ее долг. Но Диане, ее дочери и долгу, предшествовал Дмитрий Блок – брак и любовь. Теперь, если не считать Брикуле, в сущности нет никого. Ах, если бы был полковник! В пору своего расцвета Блоки имели виллу в Ла-Боле, и один из соседей, вернувшийся с Мадагаскара с нашивками майора и из-

нуренный малярией, грубым голосом аттестовался: «Я сухой, как палка». Сухой, как палка. Мадам Блок нравится худоба, впалые животы, похожие на Христов живот на картинах. Сухой, как палка – таков, наверное, и полковник Дюмон. Палка, палка. Мадам Блок краснеет, вспоминая то значение, в котором употребляла это слово кумушка из вульгарного реву, куда мсье Блок повел ее через пару дней после венчанья. Палка. У слова столь точный смысл, что мадам Блок буквально рдеет. К счастью, мадам Дюмон-Дюфур целиком поглощена созерцанием чайной салфетки. Полковнику, если уж он полковник, обязательно нужно быть худым. Наверное, он ездил в Африку и усох от тропической жары. По крайней мере, та не дала ему разжиреть. К тому же, он, вероятно, занимался разными видами спорта. Во всяком случае, он ездит верхом. Так что живота нет. Именно так она себе и представляла. Сухой как... Опять эти скверные мысли! Полковник худой, и точка. К тому же, если офицер потеряет красивую осанку, ему будет неловко носить корсет. Словом, мсье Дюмон – красавец. Так какого же черта он сошел с ума?..

Мадам Блок представляет рослого детину в красных штанах, с проседью в волосах и увешанного золотыми галунами, что с вечера до утра прогуливается взад-вперед по крытой галерее. Зеленые глаза на загорелом лице и бесконечные усы. Какой воинственный вид! Вот это мужчина! Не то что ее сын, этот блондинчик Пьер, от которого без ума Диана. Правда, у Пьера тоже зеленые глаза, но у полковника они больше и ярче, потому что лицо загорелое. Его глаза! Ничто их не устрашит, и любой кошмар для них – как маленькое облачко на ровной озерной глади.

Безумец.

Неужели полковник и впрямь так уж безумен, совсем безумен, в самом деле безумен?

– Уж я-то знаю, насколько он безумен, – отвечает его жена. – Разве я не говорила вам, что он даже не вправе развестись. Он буйно помешанный!

И, схватив гостью за руки, она причитает:

– Эрминия, бедняжка Эрминия!

– Луиза, бедняжка Луиза! – эхом откликается отёйская гостиняя.

19

Два кресла придвигаются друг к другу. Голова ложится на плечо и плачет, но тут с плеча подруги соскальзывает мех. Резкий стук. Чашка падает на пол. Китайский фарфор, которым ей разрешили полюбоваться, а затем любезно позволили из него выпить. Мадам Блок не знает, как загладить вину.

– Ну, не велика беда. Ради Бога, не огорчайтесь вы так. Какое значение имеет чашка, пусть даже из самого дорогого фарфора, для той, что обрела подругу... ведь вы моя подруга, не так ли, Эрминия?

– О да, Луиза! Как хорошо я вас понимаю! Ведь я и сама страдала. Правда, во мне нет вашей мудрости, чувства такта и чутья на виновных лис (теперь настал ее черед демонстрировать красноречие), но я сама поломала себе жизнь. Я мечтала выйти замуж за мсье Блока, я была сентиментальна, а у него были красивые руки. Я проявила неосторожность.

– Вы ошиблись, но, как видите, даже благоразумие далеко не всегда вознаграждается. Я не чудачка и не сумасбродка. Тем не менее, мой муж безумен, – и, словно сам Бог мщения вещает ее устами, мадам Дюмон-Дюфур чеканит: – Буйно помешанный, я сказала вам и повторяю снова:

буйно помешанный. Хотя он и полковник, кутежи, игра, алкоголь и девки довели его до плачевного состояния.

20 Мадам Блок говорит мадам Дюмон-Дюфур, что, благодаря некоторым рассказам Брикуле (у которого есть друг – директор психиатрической лечебницы в Нижней Сене), она немного знакома с необычными возможностями безумия. Брикуле наслушался от психиатра таких историй, что за ужином, начиная с супа и до самого ухода, без остановки пересказывает занятные подробности из жизни психиатрических лечебниц. Хозяйки дома неустанно руководят застольными или салонными разговорами. Мадам Блок подтверждает, что Оноре говорит без умолку, причем так мастерски и гладко, что гости, в зависимости от своей натуры, готовы часами смеяться, волноваться или ужасаться.

– Но тем видам помешательства, о которых рассказывает мсье Брикуле, очень далеко до помешательства полковника.

– Очень далеко? Но Брикуле знает множество историй безумия, причем изрядных.

– ...однако им не сравниться с историей полковника. Представьте себе, моя дорогая, уже четыре года полковник каждое утро пишет одно и то же письмо – разумеется, не мне...

Мадам Дюмон-Дюфур, которая с равным успехом могла бы быть как юристом, так и сфинксом, как и юристом, задает мадам Блок загадку:

– Угадайте, кому мсье Эдгар Дюмон, полковник и безумец, уже четыре года ежедневно пишет письма, в точности повторяя расстановку одних и тех же слов, а также воспроизводя все детали и малейшие знаки пунктуации, запятые, точки над

«i» и диакритические значки? Угадайте. Я могу показать вам десяток, сотню, десять тысяч писем. Угадайте.

Боясь ошибиться, мадам Блок придумывает отговорку:

– У меня нет воображения.

Тогда мадам Дюмон-Дюфур недолго думая заявляет:

– Каждое утро полковник Дюмон пишет мадам де Помпадур.

– Мадам де Помпадур!

– Ей самой.

– Любовнице Людовика XV! Как занятно!

– Не занятно, а невысказанно, и что еще невысказаннее, эти письма так похожи одно на другое, что их можно накладывать, словно отпечатки одного и того же негатива. «Фотоснимок подсознания», как сказал мне врач.

Мадам Блок не может опомниться.

Мадам Дюмон-Дюфур продолжает:

– Фотоснимок подсознания. Гордости это не прибавляет. Фотоснимок подсознания – как будто от этого легче! Они смешат меня своими учеными словечками. Как ни крути, мой бедный Пьеро все-таки сын, а я – жена безумца.

Она плачет:

– Безумца.

– Безумца, – вторит эхо.

– Задумайтесь над этим: еще два месяца, и полковник напишет полторы тысячи писем мадам де Помпадур. С его случаем ознакомилась медицинская академия, но и она пока что отделяется пустыми обещаниями.

Затем, отдавая дань уважения этому помешательству, точь-в-точь как недавно она отдала ее своей квартире, мадам Дюмон-Дюфур спрашивает:

– Хотите увидеть одно из этих писем? Ну что вы, не все они хранятся в лечебнице. Если полковник проживет еще лет двадцать, придется достроить целый флигель для хранения его словесных излияний. Доктор передал мне парочку. Я их держу вон там, в своем секретере. Схожу за ними...

Мадам Дюмон-Дюфур возвращается с двумя письмами:

22

– Посмотрите и сравните. Видите, запятая в третьей строке соответствует запятой в третьей строке на другом листе. Посмотрите и сравните.

Приставив лорнет к глазам, мадам Блок смотрит, читает и сравнивает:

*«Мадам де Помпадур,
вопреки разделяющим нас времени и пространству.*

Мадам,

Приветствую Вас!

Только не подумайте, что Вам шлет простое приветствие тело с лопнувшими глазами, хотя мне и приходится служить ему душой.

Я пленник Косолапограда, Мадам.

Преследования начались еще в Сен-Сире, где мои товарищи окрестили меня Косолапым. Они продолжают поныне, и я, полковник и изобретатель, обречен прозябать в этом огромном здании, повторяю, маркиза, как тело с лопнувшими глазами, которому мне приходится служить душой.

Маркиза де Помпадур, когда полковник Третьей республики обращается к Вам, горячо уверяю Вас, что ему хорошо известно, какие обидные комментарии вызовет эта переписка. Полковник Дюмон пишет мадам де Помпадур! Я так и вижу перед собой лица франкма-

сонов, своей жены, министра, адмиралов и всех офицеров французского морского флота. Те и другие по своему обыкновению обвинят меня в безумии, как они всегда поступали, начиная с того дня, когда я придумал в Алжире способ, как ликвидировать военные суда, привязав к колесам пушек пальмовые листья, игравшие роль плавников. Благодаря этому каждое артиллерийское орудие могло без труда и издержек превратиться в рыбу-стрелка.

Рыба-стрелок! Но мое изобретение не пришлось по нраву министру, адмиралам и офицерам, которые стали бы впредь ненужными, и потому они, сговорившись с моей женой, упрятали меня в Косолапоград к безумцам. И вот здесь, посреди умственных и душевных уродов, я остаюсь единственным, кто обладает разумом – гением изобретателя.

Такой упрямый старик, как я, Мадам, не умеет блистать искрами остроумия. Потому я и не стану ходить вокруг да около, а воззову к вашему доброму сердцу, потому что, говоря откровенно, вас нельзя назвать женщиной долга. Поздравляю! Женщинами долга я сыт по горло. Одна из них, полковница Дюмон, представляется мне в общем и целом просто занудой.

Да-да, занудой. Извините меня за это слово, маркиза, признаюсь, грубое, но лишь оно выражает характер и натуру упомянутой особы, ибо, хоть я еще и не сошел с ума, следует заметить, что дочь председателя Дюффюра, моя супруга, делала все для того, чтобы это произошло. В самом невинном удовольствии она усматривала преступление: «Зачем пить амер-пикон перед ужином? Если ты будешь продолжать в том же духе, я спрячу эту бутылку, как спрятала бутылку коньяка. Люди видели, как ты выходил из одного известного дома. Как тебе не стыдно! Полковник Третьей республики! Положение обязывает!» И так круглые сутки.

Впрочем, мадам Дюмон (которая, заметим в скобках, называет себя мадам Дюмон-Дюфур, как будто стыдясь носить фамилию одного из величайших изобретателей XX века), мадам Дюмон – далеко не единственная, на кого я вынужден сердиться. У меня ничуть не меньше претензий и к Республике.

24 Ну и что, если это письмо попадет в руки моей жены, министра, адмиралов или франкмасонов? Я утверждаю, что Республика с ее каменным телом, стальными грудями и фартуком домашней прислуги – это чудовище, которое топчется босиком по вспаханым землям.

Разумеется, Мадам, она не сумеет носить те милые туфельки, чьи каблукы прославили эпоху Вашего короля, эти туфельки на каблуках в стиле Людовика XV, на которых женщина долга, наподобие мадам Дюмон-Дюфур, никогда не смогла бы ходить.

Взываю к Вам, Мадам, к Вам и к Вашим каблукам, из Косолапограда.

Ваш покорный слуга, Мадам,
Полковник Дюмон»

Мадам Дюмон-Дюфур спрашивает:

– Что вы на это скажете?

Мадам Блок машет рукой, давая понять, что, хотя она и молчит, тем не менее, об этом думает.

Тогда мадам Дюмон-Дюфур наконец переходит на снисходительный тон:

– Бедный полковник! В глубине души его можно пожалеть. И пусть это послужит уроком его сыну. Да, всякий раз, когда Пьер возвращается домой поздно ночью или слегка навеселе, я привожу ему отца в пример... отрицательный. Он увидел, к чему ведут пьянство и разгул. Но дети в нашем столетии такие странные, мадам Блок. Пьер не ладил с отцом, пока тот жил дома – так вот, хоти-

те верьте хотите нет, сейчас он становится на его защиту по каждому поводу. Порой его суждения о людях и вещах бывают столь эксцентричны, что я задаюсь вопросом, не суждено ли и ему окончить свои дни в Косолапограде... Косолапоград. Что за название? Нужно быть безумцем, чтобы его придумать, особенно если учесть, что полковник был лишен воображения в здравом уме. «Град» – это сокращение от «город». Косолапоград – город косолапых. В Сен-Сире мсье Дюмона прозвали Косолапым, потому что он был волосатым, как медведь.

Мадам Блок думает о волосах полковника. Волосы на туловище, руках, ногах – повсюду. Она закрывает глаза. У мсье Блока была белая, безволосая кожа. По пальцам мадам Блок бегут мурашки: руки вспоминают, как приятно было гладить этот безупречный кожный покров.

Но все-таки безволосая кожа приедается. Волосы на теле полковника. Густые волосы на широкой груди – шерстистая лужайка распадается на дорожки, убегающие к узким бедрам. Мадам Блок закрывает глаза. Как трудно выносить свое вдовство! К счастью, Брикуле – не фанфарон: осень жизни у бедняжки Эрминии столь горяча, что та в конце концов сдалась бы. Почему она вдруг вспоминает, что Дмитрий, никогда не робевший в постели, называл ее своей «дорогой шлюшкой»? Мадам Блок – вовсе не безумная девственница. И все же до чего она себя довела – только и думать о мужчине-полковнике! Она представляет, как ее полная ручка в перчатке, которая сейчас лежит на подлокотнике кресла, ерошит шерсть на груди полковника. Блок душился одеколоном, но полковник, наверное, пахнет приятнее сен-

жерменской гвоздики или фужерного аромата. Широко раскрытые ноздри вдыхают запах Африки, львов, хищных зверей – одним словом, мужчины.

Мадам Блок набирается смелости:

– Наверное, он похудел там в Косолапограде?

– Да он и так был сухим, сухим...

– ...Как палка, – заканчивает на одном дыхании мадам Блок.

26

– Вот именно, сухой как палка и грубый.

– Мой муж был таким нежным, что это его и развратило. По крайней мере, полковник должен запомниться вам самцом.

– Самцом... Разве я похожа на самку, которой память о самце может быть столь приятной, как вы, по-видимому, предполагаете? Подобные вещи меня никогда не интересовали, мадам.

И, дабы пристыдить мадам Блок, она подчеркивает свою добродетельность:

– Любовь, мадам Блок, любовь физическая, иными словами, та любовь, на какую только и способны мужчины вроде моего мужа и женщины, которых интересуют мужчины такого рода, – любовь, мадам Блок, вещь довольно противная. Во-первых, можно испачкать по неосторожности простыни, а во-вторых – дурной запах.

– Дурной запах? Как вы можете так говорить! Я ничего не понимаю в живописи и тем более в литературе, мадам, но я обожаю музыку и без ума от духов! Так вот, будь у вас чуткий нюх, вы бы знали, что, пожалуй, все запахи, если вдыхать их сосредоточенно и вблизи... ну да, они безупречны.

– От полковника разило прямо-таки козлом. А волосы на ногах кололись. Поэтому после рождения нашего сына мы спали в отдельных комнатах.

К тому же даже во время свадебного путешествия полковник всегда волочился за юбками, а я не была настолько голодной, чтобы довольствоваться крохами после всяких девок и потаскух.

– Ох, а я прощала мсье Блока каждый вечер – даже в первые годы нашего брака, если на него вдруг находил стих, – мадам Блок смущается, – ну да, если на него находил стих. После обеда.

– После обеда? Вы были слабой женщиной, Эрминия.

– Я нуждалась в любви, Луиза.

– И вы называете любовью потребности возбужденного мужчины? Все эти непристойные телодвижения. Мне стыдно даже об этом подумать. При том что я не ханжа. Вас настолько волновали ласки, Эрминия?

– Я согревалась на груди Дмитрия, и ему достаточно было обнять меня за талию, чтобы я почувствовала себя счастливой.

– Скажите еще, что вы души не чаяли в мсье Блоке.

– Скажу, если вам угодно.

– Так, значит, вы души не чаяли в мужчине. Вы любили. Бедняжка. Я – никогда. Отсюда моя сила.

– Я вами восхищаюсь, Луиза. Я вам завидую.

– Мой отец, председатель Дюфур, сделал из меня женщину долга, каковой я и осталась.

– Ну а я задавалась вопросом, что такое любовь, еще когда мне было лет десять. Я целыми часами неподвижно сидела в углу. Мои родители хвалили меня за послушание, а я немножко стыдилась их одобрения.

– Вы стыдились, и конечно, не без причины. На месте вашей матери я устроила бы вам головомойку.

– Она не знала, о чем я думаю.

– Вот именно.

Мадам Блок предается сожалениям:

– Теперь я пожилая женщина и вдова. У меня взрослая дочь. Мой кузен Брикуле охотно бы на мне женился, но Диана его терпеть не может. Так что я обречена на одиночество с того самого дня, как мсье Блок меня покинул. Я любила его, и все же он оставил меня по своей воле. Он наложил на себя руки.

28

– Черт возьми! Наверное, он промышлял грязными делишками?

– Нет.

– Возможно, у него был внебрачный ребенок?

– Насколько мне известно, нет.

– А он случайно не подцепил какую-то постыдную болезнь? Нельзя же покончить с собой без всякой причины, дорогая подруга.

– Тем не менее, мсье Блок не промышлял грязными делишками, у него не было внебрачного ребенка, и он не подцепил постыдной болезни.

– Так в чем же дело?

– Он просто покончил с собой.

– Если он покончил с собой, должна же быть какая-то причина.

Мадам Дюмон-Дюфур переходит на грозный тон. Наверное, она считает, что от нее скрывают правду. У мадам Дюмон-Дюфур светлый ум. Даже под пыткой она твердила бы до скончания века, что, если мсье Блок покончил с собой, значит, есть причина, и притом веская. В противном случае он не умер.

Ну вот, мадам Дюмон-Дюфур уже сомневается в смерти мсье Блока. Его вдова возражает, но доводы сторонницы причинно-следственной свя-

зи столь сильны, что, если бы сейчас открылась дверь и в гостиную вошел Дмитрий, внезапно вернувшийся в мир живых, Эрминия не особенно бы этому удивилась.

– Вы говорите, что мсье Блок не умер, что он не покончил с собой, Луиза?

– Если он умер, покончил с собой, тогда укажите мне причины.

– Причины, причины?

У мадам Блок их в избытке, но этими причинами мадам Дюмон-Дюфур не удовлетворится. Поэтому мадам Блок глубоко огорчена тем, что не в силах найти других.

– Говорите же.

– Ну что ж, извольте. Во-первых, – начинает мадам Блок, такая перепуганная, словно сдает выпускной экзамен, и такая неуверенная в себе, как будто ей нужно перечислить все притоки на правом берегу Миссисипи, – во-первых, в семье Блок много самоубийц. Меня предупреждали об этом еще до замужества. Моя бабка с улицы Гренель-Сен-Жермен вышла замуж за рыжего, и половина детей у нее родилась с волосами такого же цвета, как у мужа. Так вот, она говорила мне: «Знаешь, малышка, самоубийство – это как морковные волосы. Чистая случайность. Одни ее избегают. Другие – нет».

– Видимо, иудейская наследственность... – Гадает мадам Дюмон-Дюфур.

– Но, дорогая подруга, мсье Блок не был евреем. Он был русским.

– Еврей или русский – даже не знаю, что хуже. Ради Бога, Эрминия, как вы могли настолько распуститься, чтобы совершить подобный неосторожный шаг? Выйти замуж за русского!

– Дмитрий получил гражданство.
– И в его жилах тут же заструилась другая кровь?

– Конечно, нет.

– Тогда вы стали жертвой славянского обаяния, Эрминия.

– Признаю это, Луиза.

– Вы в этом раскаиваетесь?

30 Мадам Дюмон-Дюфур сидит в своем кресле с величественным видом. Она похожа на королеву Англии, императрицу Индии: ее лопатки никогда не прижимались к спинке стула. У мадам Дюмон-Дюфур величественный вид. Ее лицо каменеет. Она – воплощенное правосудие. В крайнем случае, великий инквизитор. Сожжет ли она мадам Блок в своей печи, если мадам Блок тотчас же не признается, что стала жертвой славянского обаяния, и не отречется? Мадам Блок страшно. Мадам Дюмон-Дюфур настаивает:

– Вы отпираетесь?

– Это судьба.

– Судьба – это всего лишь слово.

– Но, хотя вы, располагая всеми возможностями, не вышли замуж по любви, а вступили в брак с мсье Дюмоном и не стали жертвой никакого обаяния, вы не были счастливы.

– Да, но зато моя совесть чиста.

– А у меня остались прекрасные воспоминания. Вечер нашей помолвки, день свадьбы, брачная ночь.

Вечер помолвки, день свадьбы, брачная ночь! С мадам Блок и впрямь невозможно что-то обсуждать. Брачная ночь! Мадам Дюмон-Дюфур хохочет. Она смеется сквозь слезы, смеется в ярости, смеется горлом, носом, ртом и глазами. Она

смеется всеми своими морщинками, нынешними и будущими, и всем своим телом, всеми своими косточками, что трясутся под черным марокканским крепом. Мадам Дюмон-Дюфур смеется, и она не притворяется. Брачная ночь! Мадам Блок, это невероятно, вы надо мной издеваетесь – брачная ночь! Давайте поговорим о брачных ночах: уж свою-то мадам Дюмон-Дюфур не забыла.

Мсье Дюмон в ту пору был еще капитаном. Даже не успев снять сапоги (он пожелал венчаться в офицерской форме), он укусил ее за плечо – не поцеловал, а именно укусил справа, у ключицы, пока молодая жена раздевалась в супружеском туалете. У мсье Дюмона были не губы, а наждачная бумага, усы щеточкой и свирепый вид. Тогда мадам Дюмон, в мгновение ока приняв решение, что станет несчастной женщиной долга, закрыла глаза и позволила дотащить себя до кровати, где разрешила капитану, так и снявшему сапог, стать своим мужем. Все произошло на покрывале, которое она собственными руками вышила после помолвки: мсье Дюмон, грубый и невнимательный, даже не расстелил постель. Жертва подчинилась этой похоти, и не рассчитывая, что причиненная боль породит когда-нибудь радость. Сытый капитан слез с измятого тела и встал, чтобы снять сапоги, штаны и рубашку. Когда невеста наконец открыла глаза, она заметила на огромном теле, покрытом лишь волосами, пунцовые анатомические детали, которые вскоре настолько увеличились, что этот страшный голый черт вдруг представился ей гигантским кофейником из кожи и костей.

Такой была первая брачная ночь жены капитана Дюмона. Но если мадам Блок познала экстаз, который ее бедная подруга, по ее собственному

признанию, не в силах вообразить, почему же тогда мадам Блок жалуется?

– Я и не жалуясь.

– Принимаю это заявление к сведению.

Вот и вынесен вердикт. Мадам Блок приговаривается к тому, чтобы ее не жалели. Но раз уж она утверждает, что мсье Блок покончил с собой, пусть хотя бы укажет причины, по которым эта смерть могла бы стать правдоподобной.

32

В ответ звучит, во-первых, что в семье Блок много самоубийц, а во-вторых, мадам Блок полагает, что ее супруг, интересовавшийся редкостными ощущениями, возможно, покончил с собой лишь для того, чтобы получить представление о смерти.

– Сударыня, – рассудительно отмечает мадам Дюмон-Дюфур, – он был русский.

– Господи, конечно, и к тому же мистик! Какие он вел речи, когда выпивал!

Он становился таким забавным, крепко сжимал Эрминию в объятьях и хрипло говорил:

– Женщина, земного счастья мне мало. Ты, малышка, и вы все – случайности, а Дмитрию Осиповичу не уйти от своей судьбы.

Мадам Блок всячески пыталась его вразумить.

– Случайности, Дмитрий? Ты не в себе!

Но он твердил, как одержимый:

– У бурлаков на Волге руки стерты до крови, тросы впиваются в пальцы, а лица изваяны голодом. Им то холодно, то жарко, но не все ли равно? Их песни, однообразные, как небо, и унылые, как река, так же дороги их сердцу, как воздух родимых мест нашим легким! Ну когда же я снова увижу свою страну, Эрминия, когда смогу вновь услышать бурлаков на Волге?..

– Если ты любишь пение, давай пойдем завтра в Оперетту. Дают «Короля Иса».

– Я говорю не о «Короле Исе», несчастная женщина. Я говорю даже не о песнях, а о том духе, что веет над нашими степями, струится по нашим рекам и оживает в любом уголке Европы, как только изгнанники и беглецы из Сибири вспоминают свою родину – святую Русь.

– Святая Русь... Я понимаю, Дмитрий, но здесь, во Франции, у тебя есть жена, малышка Диана, которая растет и когда-нибудь выйдет замуж, родит детей.

– Не все ли равно? Бурлаки на Волге, Эрминия, их печальная доля, однообразие которой в конце концов становится блаженством...

Молча помечтав пару минут, он упрямо продолжал:

– Моя жена, моя дочь – случайности. Диана выйдет замуж, родит детей. Ну и хорошо, а я умру за Россию, и мне больше не понадобятся ни ваши органы, ни ваши венки, ни мерзкие слова жалости. Я запрещаю молиться над моими останками, наряжать мой труп, рыть для него могилу. Я хочу отдать свое тело не европейской земле, а реке моей родины – Волге. Пусть я стану рыбой, и пусть какой-нибудь рыбак однажды меня пощадит, принесет в свою хижину и совершит чудо воскресения на берегах России – святой Руси, откуда был изгнан мой отец. Ведь я сын изгнанника, и православие...

Потом начинались рассказы о царе и православии, в которых мадам Блок ни капельки не смылила, и Блок неизменно подытоживал:

– Мой отец и мой дед уже покончили с собой, дабы избежать худшей участи. Я вижу, как их души витают вокруг. Здравствуй, отец мой Осип

Александрович, здравствуй, пращур мой Александр Федорович, скоро уже Дмитрий Осипович присоединится к вам. Здесь у меня жена Эрминия и дочь Диана. Но не все ли равно? К тому же, Эрминия, ты всего лишь европейка.

– А ты-то кто?

– Русский, Эрминия. Русский презирает приблизительность, которая истощает его силы. Мне жаль тебя, малышку Диану, которая когда-нибудь выйдет замуж, заведет детей. Жаль, но жалость не увлечет за собой мой ум и мою душу. Еще рюмку водки!

– Дмитрий, ты слишком много пьешь.

– А если убить вместе с собой тебя и малышку Диану?

– Дмитрий, побойся Бога!

– Ладно, оставляю вас в живых.

После этого он чаще всего засыпал.

Мадам Дюмон-Дюфур восклицает:

– Терпеть подобные сцены, слышать подобные оскорбления!

Этот Блок обходился со своей женой, как с последней из женщин. Эрминия – европейка. А он-то кто такой? Дикарь, русский. Русский – не еврей, но, на самом деле, мадам Дюмон-Дюфур затруднилась бы сказать, кто из них хуже. Русские, евреи и эта послевоенная выдумка – американцы – гроша ломаного не стоят. Лучший друг Пьера – американец. Мадам Дюмон-Дюфур уже говорила мадам Блок об этом Артуре Браггле, приплывшем в Европу посудомойщиком. Разумеется, Пьер, с его склонностью к причудам, восхищается путешествием Браггла так же, как и безумием своего отца. Отметим, что Артур Браггл – длиннорукий подросток. Он ходит, пританцовывая, как пантера, и у него звериный

взгляд. Феномен, так сказать. Начать с того, что у человека с такой фамилией должны быть румяные щеки, лучащиеся оптимизмом – впрочем, в этом случае Пьер, который хвастается тем, что ему нравятся только самые необычные создания, никогда бы с ним не подружился. Но оставим в покое Браггла, американцев, евреев и вернемся к нашим русским и мсье Блоку, к которому жена была и впрямь слишком уж терпимой. Почему она позволяла ему столь дурно с собой обходиться? В это невозможно поверить. Но чего она ждала от подобного человека?

– Ничего, Луиза.

Ничего, ведь судьбы Эрминии и славянина связала лишь любовь.

Верно, любовь. Повинную голову меч не сечет, к тому же Бог милостив. Раз уж мадам Блок призналась в своей ошибке, пусть не унывает, а продолжает свой рассказ. В общем, это самоубийство...

...Это самоубийство сделало ее вдовой, и она помнит его во всех подробностях, словно это произошло только вчера.

Мадам Дюмон-Дюфур удобно устраивается в кресле и произносит «ну», которое означает: «Начнем!»

И жертва начинается. Первые числа июля 1914 года. Субботний вечер. Блоки уезжают из Парижа, и мужской портной доставляет костюм в крупную клетку. Эта картина до сих пор стоит перед глазами бедной женщины – даже в гостиной мадам Дюмон-Дюфур, более одиннадцати лет спустя. Дмитрий в одной рубашке и коротких штанах выкидывает коленца, развлекая малышку Диану, ведь он был очень ловок, хотя ему уже стукнуло

сорок, и без малейших усилий совершал рискованные прыжки. Правда, в тот вечер он довольствовался лишь несколькими антраша, поскольку Блоки пригласили на ужин гостей, и в четверть восьмого мадам прервала кривлянья своего супруга, попросив его переодеться в смокинг.

Дмитрий был по-прежнему в хорошем настроении, даже шутил и вел себя по-домашнему. Он позвонил горничной, попросил приготовить рубашку и проч., и, пока он собирался надеть эту рубашку, мадам, которая в соседней комнате снимала дневную юбку и блузку, чтобы переодеться в новенькое вечернее платье, маленькое чудо из кремово-розового атласа, спросила мсье:

– Дмитрий, ты достал ликеры?

– Забыл, дорогуша. Сейчас же схожу.

И он направился в свой кабинет, где хранился алкоголь.

Восемь часов. Мадам Блок блистает перед гостями в кремово-розовом атласном платье.

Четверть девятого. Как долго Дмитрий одевается!

Половина девятого. Гости переглядываются, разговор не клеится. Рука мнет кремово-розовый атлас.

Без четверти девять. Слуга идет сообщить мсье, что его ждут к ужину.

Без десяти девять. Слуга возвращается ни с чем. Мсье нет ни в спальне, ни в уборной.

Без пяти девять. Мадам Блок больше не в силах раскрыть рта. Ей кажется, что на кончике каждого пальца начинается извержение вулкана. Она ерзает, и ей хочется разбить часы с маятником за то, что они над ней издеваются, – часы в стиле «ампир», которые она начинает ненавидеть, хотя всего пару минут назад так ими гордилась.

Без четырех девять, без трех девять.

Она встает.

Без двух девять. Она выпрямляется перед гостями, такая бледная в своем кремово-розовом атласном платье, что все в гостиной одновременно вскрикивают. Но никто не встает. Посмотрите на них – на гостей, пригвожденных к креслам. Прошло два часа, и только тогда раздался их испуганный возглас:

– Эрминия!

37

Два часа. Но мадам Блок этого не осознает. Часы показывают без одной минуты девять. Она сошла с ума, или это часы? Нет, и с ней и с часами все нормально, но у гостей уже пропал аппетит. Им было обещано иное угощение. Когда гости все хором произнесли имя мадам Блок, они не молили ее о том, чтобы она оставалась на месте, а, напротив, призывали сделать шаг. Мадам Блок утрачивает свою будничную или даже воскресную рассудительность и начинает понимать, что жестокий рок заставит ее породниться с самыми страшными божествами. Все мысли перепутываются, и все эти перепутанные мысли высекают искры, от которых разгорается пожар. Мозг Эрминии объят пламенем, озаряющим кружок гостей. Гости с бледными лицами, тусклыми глазами, черными губами и голыми черепами. Смерть. Мадам Блок угадывает ее присутствие. Да еще и часы остановились.

Наконец, девять часов. Ровно час назад должны были объявить: «Мадам, кушать подано». И тут-то мадам Блок вспоминает, как много в семье Блоков самоубийц. Тут-то мадам Блок буквально каменеет в своем кремово-розовом атласном платье и опускает правую руку на круглую ручку

двери, ведущей из гостиной в кабинет. Тут-то мадам Блок, само олицетворение горя, дождавшись, пока часы пробьют девять раз, открывает дверь и сама сообщает:

– Мсье Блок мертв.

Мсье Блок мертв...

...и жестокость гостей, устремляющих на нее безжалостные вопросительные взгляды.

Мсье Блок мертв. Хозяйка дома должна объяснить:

– Мсье Блок мертв. Он покончил с собой. Повесился...

Гости встают со стульев и бросаются в кабинет. Хотя женщины прикрывают глаза обнаженными руками, они полны решимости не упустить ни единой детали. Повесился. Представляете? Никто не слушает причитаний Эрминии:

– Зачем я только попросила его сходить за ликерами? Он выпил почти всю бутылку водки, а потом покончил с собой.

Она вопит:

– Дмитрий, Дмитрий!

Приходят слуги и смешиваются с гостями. Над всей этой картиной возвышается белый колпак шеф-повара из «Речатте».

Мужчина предлагает снять труп. Женщины хлопают в ладоши. Мадам Блок, шатаясь, прислоняется к стене и наблюдает, как гости суетятся вокруг Дмитрия, уложенного на диван. Старательно сделав вид, что пытались вернуть его к жизни, они извиняются и уходят. Но сначала делят между собой веревку. Еще бы! Ведь это приносит удачу, так что к приходу комиссара не остается даже маленького клочка.

Бедная мадам Блок! Тем не менее, ей говорят, что в целом ей повезло, ведь если бы мсье Блок не умер, то, принимая во внимание его характер и неумеренное пристрастие к водке, а также смерч разрушения и неистовой злобы, который носится над миром вот уже несколько лет, возможно, он просто-напросто стал бы большевиком.

Представляет ли себя кроткая мадам Блок, мать Дианы, женой большевика? Нет-нет, лучше уж самоубийца или безумец в семье, нежели коммунист. Серп и молот? Наверное, мсье Блок называл бы консьержку товарищем?

Конечно, ее мужу следовало бы выбрать для своего ухода в мир иной какой-нибудь другой день, когда у них никто не ужинал. К тому же, будь он хорошо воспитан, он бы не повесился в одной рубашке и коротких штанах. Да, эта смерть в тот вечер, когда он принимал гостей, настолько позорна для мсье Блока, что этого не выразить словами. Она показывает, на что был бы способен подобный человек, останься он в живых. Она также показывает, что, если вдова его оплакивает, значит времени у нее в избытке.

Не окажись он таким сумасбродом, если уж он твердо вознамерился свести счеты с жизнью, то, взяв на себя труд немного подумать и подождав, например, пару недель, он нашел бы смерть, которой желал, на войне, а его жена и дочь, насколько от этого не пострадав, напротив, извлекли бы законный повод для гордости, ведь, согласитесь, Эрмения, война, по крайней мере, обладает тем преимуществом, что поправляет дела невезучих семей. Ну и конечно, родись мадам Дюмон-Дюфур под счастливой звездой, полковник, несомненно, пал бы во главе своих войск. Тогда он стал бы ге-

роем. Возможно, в квартале Отёй появилась бы улица Полковника Дюмона. А вместо этого, сидя в одиночной палате, он способен лишь развлекать своим Косолапоградом врачей да морочить голову собственному сыну.

40 Раз уж мсье Блок мертв, да здравствует мсье Блок, но поскольку обе дамы поклялись признаться во всем, не будет ли Эрминия так любезна, раз уж в ее в доме повесились, не будет ли она так любезна, что расскажет своей дорогой Луизе: правда ли то, о чем говорят?

Эрминия страшно испугалась. О чем говорят, Луиза?

Луиза улыбается. Она немного смущена, понижает голос до доверительного шепота, думает не семь, а четырнадцать раз, прежде чем отрезать, и наконец заявляет, что не будет ходить вокруг да около. Хотя в квартире Блока, в том самом месте, где он повесился, между паркетинами и не выросла мандрагора, мадам Дюмон-Дюфур все равно хотела бы выяснить, правда ли то, что говорят о повешенных и что она сама читала в одном романе (забыла его название – купила на вокзале, чтобы скоротать время в поезде).

Мадам Блок ровным счетом ничего не понимает.

Куда клонит мадам Дюмон-Дюфур?

Кресла сдвигаются. Шушуканье, и наконец вопрос, который так трудно задать. Мадам Блок вынуждена на него ответить, и она краснеет, как пион.

– О, моя дорогая, я ничего не видела. Его раздел и похоронил слуга. Я могу лишь сказать, что штаны в крупную клетку, которых он так и не успел поносить, впоследствии съела моль, причем как раз в паху.

– Так, значит, это правда?

Мадам Дюмон-Дюфур уточнит у своего врача и сообщит подруге о результатах расследования.

Благодаря последнему вопросу мадам Дюмон-Дюфур, у мадам Блок возникает чувство выполненного долга. Она уже рассказала достаточно и теперь может встать и раскланяться...

– Но, моя дорогая Эрминия, вы только что пришли, у нас есть еще время поговорить. Я даже не спросила вас, как дела у дорогой Дианы?

41

– Диана чувствует себя превосходно. А как Пьер?

– Ох, Пьер так несерьезен.

Хотя мадам Дюмон-Дюфур и не ханжа (что доказала история с Косолапоградом и вопрос о мандрагоре), она бы не решилась пересказать и четвертой части тех безрассудств, – нет, это недостаточно сильное слово, – тех несуразностей, – тоже слишком слабое, следовало бы сказать «безобразий», которые не стесняется совершать Пьер. Мать говорит ему, что, хотя его отец наломал немало дров, он никогда не смог бы даже вообразить всех тех выходов, что составляют будни молодого Дюмона. Так, например, он очень часто не ночует дома, как будто ему мало дня. Мсье Дюмон изменял своей жене с пяти до шести, возвращался домой к ужину и в половине десятого ложился, по его словам, «в койку». Это было, пусть и неприлично, но хотя бы отчасти приемлемо! Но Пьер, Пьер...

Мадам Блок смотрит на марокканскую вешалку, которую мадам Дюмон-Дюфур с ее оригинальными представлениями о мебелировке повелела воздвигнуть. О да, именно воздвигнуть, ведь речь идет о подлинной архитектуре! Медные блюда,

привезенные полковником из Феса, и древесина, инкрустированная перламутром и украшенная арабской вязью, производят такое милое впечатление. Медные блюда, инкрустированное дерево, соединение и смешение различных элементов, плюс три крючка сверху – и вы получаете предмет мебели, который еще на входе сигнализирует посетителям, что они входят в квартиру женщины со вкусом. Ну так вот, на прошлой неделе это маленькое чудо исламского искусства и европейского воображения серьезно пострадало от рук молодого Пьера Дюмона:

– Мне наконец удалось заснуть, – рассказывает мадам Дюмон-Дюфур, – как вдруг в три часа ночи меня разбудил адский грохот. Я решила, что это грабители, встала, взяла каминные щипцы для защиты и бросилась в прихожую. Вешалка лежала на полу, а под ней, дорогая подруга, копошился мой сын – шляпа набекрень, воротничок отпорот, блуждающий взгляд, руки беспокойно шевелятся, – словом, в таком состоянии, что я не прикоснулась бы к нему даже щипцами... Вы, наверное, думаете, что Пьер застеснялся? Нисколько. Напротив, казалось, он от души веселился и потешался над моими бигуди и ночной рубашкой. Вероятно, дамы, к которым он ходит, обычно спят голыми? Все приличное кажется ему смешным. Я до сих пор слышу, как он мямлит, икая: «Рубаха. Бигуди». Я хочу помочь ему встать, делаю замечания: «Пьер, ты пьян, и не просто пьян, а пьян в стельку. Тебе мало примера отца, который сидит в психушке?» Но что толку говорить о благоразумии с этим юным безумцем! Он хватает меня за подол рубашки, цепляется с такой силой, что рвет ее, и заявляет, что хочет в чем-то при-

знаться, признаться во всем, а потом вдруг выпаливает: «Я хочу еще повеселиться. Мама, надень шляпку, и пойдём пить виски на Монмартр»... Это было уж слишком. Я вернулась к себе в спальню и остаток ночи провела в слезах. Я надеялась услышать извинения на следующий день. Так вот, едва проснувшись, наш юнец позвонил. Представьте себе, он был у вашей дочери, у дорогой Дианы, и рассказывал обо всем, говорил о моих бигуди и о моей «рубашке», хвалил своих друзей-инородцев и всю эту шайку, что морочит головы нашим детям и будоражит наши семьи. А ведь я просто хотела спокойно дождаться внуков.

– Но ваш сын еще может жениться.

– Вы полагаете, с теми привычками, что он себе завел...

Похоже, мадам Дюмон-Дюфур на что-то намекает. Мадам Блок знает свет. Ей известно, что в любви возможные разные сочетания.

К тому же мадам Блок – мать. Хотя она и предоставляет Диане свободу, она обязана любыми средствами выведать все о ее друзьях.

Поэтому она мягко, но решительно спрашивает:

– Пьер ненормальный?

Мадам Дюмон-Дюфур оставляет права прокуратуры за собой и не любит, когда обвиняют ее родню (разумеется, за исключением полковника, который, впрочем, в ее семью не входит). Она одна может судить, признавать виновным или оправдывать.

Поэтому, когда мадам Блок повторяет свой вопрос, она весьма снисходительно отвечает:

– Нет, просто он слегка вырожденец.

– Слегка вырожденец, – гремит голос за дверью.

– Легко на помине... – Замечает мадам Дюмон-Дюфур. – А вот и наш Пьер вернулся.

Пьер входит в гостиную.

– Добрый день, мадам Блок, добрый день, любезная мать сына-вырожденца.

– Добрый день, Пьер, добрый день, дитя мое.

– Вы ненормальны, мадам Блок?

– Пьер, умоляю.

– Вы вырожденка, матушка?

44 – Дитя мое, какая муха тебя укусила?

Мадам Блок решает, что лучше всего ретироваться. Она встает. До свиданья. До свиданья. Привет Диане. До скорого, дорогая подруга! Мадам Дюмон-Дюфур остается наедине с сыном.

II

КОСОЛАПОГРАД?

45

Пьер обходит вокруг чайного столика, накрытого скатеркой, где пока еще стоят сахарница, чашки, блюда и все предметы утвари, которые приличная женщина, любящая порядок и разумную пышность, использует для чаепития.

Пьер останавливается на квадратике просвечивающего полотна и с треском разрывает его в клочья. От шедевра изысканного столового белья остается лишь маленький комок, валяющийся на полу. Юный вандал заявляет:

– Так-то лучше, – а затем, глядя матери прямо в глаза, добавляет: – Вы меня смешите.

Отёйская гостиная превращается в голгофу. Несчастливая женщина морально готовится к новым страданиям, пока юноша мечется, словно лев в клетке. Несчастливая женщина подбирает клочки с ковра со словами:

– Господи, куда катится мир! Неужели Ты не слышишь, что его суставы скрипят, как у скелета?

Затем она выпрямляется – кровь приливает к лицу – и спрашивает насвистывающего Пьера (право-слово, он считает, что находится в свиарнике?)

– Значит, ты потерял всякое чувство уважения?

– Чувство уважения?

Он бросает ей в лицо еще раз:

– Вы меня смешите.

И она видит, как он хватается за бока, словно вот-вот лопнет от смеха. Мадам Дюмон-Дюфур, еще не сказавшая последнего слова, подыскивает фразу («Отче наш, хлеб наш насущный даждь нам днесь»), с которой можно было бы начать неизбежное выяснение.

46

Она не виляет, а говорит прямо:

– Пьер, я жду объяснений.

– Каких объяснений?

– Ты прекрасно знаешь.

Пьер не знает и потому отмечает:

– Если потребуются объяснения, мы просидим здесь еще неделю, но, прежде чем меня попрекать, пусть мадам Дюмон-Дюфур сама для начала расскажет, почему назвала своего сына вырожденцем.

Ну, это уж слишком. Пьер имел наглость спросить, почему мать назвала его вырожденцем, как будто не знает, на чем основано это суждение.

Прежде всего – друзья Пьера. Мадам Дюмон-Дюфур, выражая мудрость наций, после небольшого вступления («Скажи мне, кто твой друг...») перечисляет дурные инстинкты и пороки (признаваясь, впрочем, что не в состоянии представить их во всех подробностях, поскольку лишена врожденной порочности) всех этих художников, приехавших в Европу из какой-то там непонятной Америки, чтобы мыть здесь посуду.

Пьер ее перебивает:

– Вы говорите о Брагле. Если он мыл тарелки на пароходе...

– Ага, вижу, куда ты клонишь. Человек, не способный наладить свои дела, восхищается лишь босяками, подозрительными иностранцами, которые скоро станут хозяевами нашей страны.

Пьер пожимает плечами.

Мадам Дюмон-Дюфур продолжает:

– И это только твои друзья. Тебя можно было бы осыпать упреками до утра. Например, уколы.

– Какие уколы?

– Не строй из себя невинную овечку. Кокаин...

– Но я вам уже сто раз говорил, что кокаин не колют, а втягивают носом. Щепотка белого порошка на пилочке для ногтей. Вдохнул, и порядок.

– Щепотка белого порошка на пилочке для ногтей? Пьер, ты издеваешься над своей матерью. Это скверно.

– Я не издеваюсь, а пытаюсь вас просветить.

– Меня не собьют с толку ни твоя дерзость, ни твоя ложь. Я хорошо разбираюсь, что к чему. Все эти наркотики колют в руку.

– Ну, если вы разбираетесь лучше меня... Наверное, вы уже кололись кокосом?

Вы слышали? Пьер спрашивает мать, принимала ли она кокаин. Сын посмел вообразить, что его мать была или стала кокаиноманкой. Самое время повторить:

– Пьер, ты потерял всякое чувство уважения.

У наглеца на все готов ответ:

– Чувство уважения? Как бы я его сохранил, если вы все время насмехаетесь над беднягой, которому просто не повезло в жизни?

– Бедняга, которому просто не повезло в жизни! Не о своем ли отце ты хочешь поговорить? Как ты вежлив с его женой и своей матерью! Вот и невеселая мораль: человек так безудержно пьянству-

ет и волочится за юбками, что теряет рассудок, а его сын, вместо того чтобы глубоко задуматься над столь печальным примером и выбрать благо-разумную, здоровую жизнь, его сын, достигший совершеннолетия, смеется над матерью, вместо того чтобы ее пожалеть, а о субъекте, чья распу-щенность привела его в психушку, заявляет: «Ему просто не повезло в жизни».

48

На каминной полке отёйской гостиной и впрямь стоит бронзовая статуэтка Барбединни¹ – Бог мще-ния на небесном престоле, от лица которого мадам Дюмон-Дюфур может отныне предсказать, что нар-котики и друзья, подобные Брагглу, скоро навлекут на несчастного ребенка ту же участь, что уже на-влекла не столь необузданная распущенность на одного ее знакомого полковника. Яблоко от яблони недалеко падает...

Затем дочь председателя Дюфура сменяет про-курорский тон на тон «начальника вокзала».

– Поезд отправляется в Косолапоград!

Пьер стискивает челюсти.

Ему вновь указывают на рельсы, по которым он должен устремиться к безумию.

– Поезд отправляется в Косолапоград!

Пьер скрипит зубами, не отвечая ни слова тор-жествующей мадам Дюмон-Дюфур, но про себя повторяет, что он сын человека, который хотел привязать пальмовые листья к колесам пушек, чтобы превратить их в рыб-стрелков. Для его ма-тери это типичный поступок – эталон, которым до

1 Барбединни, Фердинан (1810–1892), французский ли-тейщик и промышленник, известный изобретением машины для создания из бронзы точных миниатюрных копий скульптурных изображений.

скончания веков, если Пьер случайно продолжит свой род, будет измеряться безумие потомства Дюмонов.

Безумие.

Мадам Дюмон-Дюфур старается не упустить ни единой гримасы на лице Пьера.

Безумие. Она как будто раздаёт его в пакетиках со слезом, забрасывая ими из своей отёйской квартиры (трах! бах! шлеп! хочешь? получай!) мужчин, изменявших своим женам или пивших слишком много амер-пикона, а также юношей, которые любят коктейли и возвращаются домой за полночь.

Ну и, конечно, она не далека от мысли, что, если сегодня полковник находится в психиатрической лечебнице, значит, пройдя сквозь огонь, воду и медные трубы, она имеет право на маленькую месть. Отсюда та безапелляционность и надменность, с какой она возглашает из кресла тоном начальника вокзала:

– Поезд отправляется в Косолапоград!

Косолапоград?

Пьер с хрустом сжал челюсти. Его вытаращенные глаза ничего не видят, больше не могут ничего видеть. Эта безгубая женщина знает, чего хочет. Она докажет своему сыну, что он вырожденец, ведь разве, отказавшись от своей доли земного счастья, она не вправе рассчитывать на какую-то компенсацию? Отсюда привычка выносить приговоры и доказывать свою правоту. Мадам Дюмон-Дюфур без конца строила умозаключения и искала доводы, дабы защитить малейшие из своих высказываний. Но с Пьером незачем надрываться – этот малыш слабоват. Одно-два слова, сказанных к месту, и ему конец. Пусть он бахва-

лится и разглагольствует обо всем на свете, пусть рассуждает о Боге и дьяволе, пусть ходит к американцам, чехословакам, югославам и всей этой своре, пусть принимает наркотики, напивается и крушит подставки для зонтов, пусть он знаком с целой уймой юродивых, тем не менее, он остается таким же наивным, и этого не скрыть. Дочь председателя Дюфура, карающая, точно неумолимая судья, умеет извлекать из этого выгоду.

50

Ей достаточно лишь произнести слово «Косолапоград», чтобы Пьер сжал челюсти. Ее работа, так хорошо начатая, завершается сама собой. Мадам Дюмон-Дюфур смотрит на него и следит за ним, не включая свет, хотя уже смеркается, поскольку знает, что темнота может быть союзницей.

Расслабившись и удобно устроившись в кресле, мадам Дюмон-Дюфур ждет, пока Пьер не уйдет с головой в свои мысли.

Ненормальный, вырожденец или безумец?

Раз его мышцы не напрягаются под кожей, раз любовь и ее ухищрения разрушают его волю и разум, наверное, он испугался?

Но он никогда не ведал безумия гордыни и не стремился отказаться от банального благоразумия. Быть точкой в толпе – не более того. Он не желал иного счастья – просто слиться с другими душами на безымянном материке, портами которого станут его глаза и уши, а также глаза и уши всех людей. Кораллы интеллекта – его собственные мысли, кораллы плоти – его сосочки, жаждущие наслаждения: суцая малость по сравнению с неделимым пространством. Всего лишь полуостров, и даже не полуостров, а лишь полоска суши заслуживает имени Пьер Дюмон, но ей знакомы превратности необычного океана. Однако из-за

моря приключений прибыли преступные суда, которые он теперь носит в крови в поисках неведомого пристанища. Исковерканные мысли, беспредметные желания, слишком хорошо отточенные секреты – все обречено на кораблекрушение, но и это еще не конец.

Безумие?

Косолапоград?

Пьер уже отчаялся, смягчился и смутился от раскаяния, это вовсе не раскаяние в своих ошибках. Он ощущает себя тенью уroda и, как всякая тень, обречен еще больше подчеркивать уродства своего первоисточника. Его отец – безумец? По вине какого солнца отчаяния повторяет он судьбу этого помешанного? Невидимый шарнир связывает его с этим человеком, который там, в Косолапограде, через два месяца напишет полторы тысячи одинаковых писем к мадам де Помпадур. Фотоснимок подсознания: «Нам от этого не легче», – неизменно отвечает мадам Дюмон-Дюфур, когда ее об этом спрашивают. Фотоснимок подсознания: не совпадут ли некоторые искушения и дни Пьера с некоторыми искушениями и днями полковника, как в точности совпадают между собой письма, написанные безумцем?

– Ты – вылитый отец, – обязательно повторяет мадам Дюмон-Дюфур, отмечая это словно лишь затем, чтобы еще больше одурманить Пьера и еще сильнее разозлиться самой.

– Ты – вылитая копия своего отца, – в этих простых словах маленькой фразы мадам Дюмон-Дюфур обретает возможность отыгаться на целой вселенной, не приносящей ей ни радости, ни экстаза, на полковнике Дюмоне, которого ей пришлось терпеть, и на Пьере – полной противоположности того, что она ценит, то есть ее самой.

Она твердит про себя, что глупо отказываться от подлинного, единственного удовольствия, которое ей когда-либо предлагалось: завершить на сыне мщение, желание которого заронил отец. Ипполита наоборот – Пьер должен загладить чужую вину. Он так хорошо ее понял, что выслушивает мать, не моргнув глазом, или отшучивается всякий раз, когда бывает задет лично, как будто он не дает себе отчета в собственных поступках или равнодушен к жизни, которую у него требуют обелить. И напротив, как только заходит речь о полковнике, он с готовностью, которую сам же считает ребяческой и наивной, ищет оправданий и смягчающих обстоятельств. Он оправдывает все не ошибки Пьера Дюмона, а грехи своего отца, чьим наследником, как ему хорошо известно, его называют с единственной целью – потребовать объяснений. Но, каков бы ни был приговор, Пьер полагает, что нет большей подлости, нежели отказать поручиться за обвиняемого, зная, что тот не может защититься сам. Ведь распутную жизнь полковника Дюмона, благодаря которой Пьер еще ребенком получил представление о грехе, можно объяснить лишь безумием. Поэтому он ссылается на безумие и искренне объясняет мадам Дюмон-Дюфур мучения человека, теряющего рассудок. Но Пьер – плохой актер. Он не умеет извлекать выгоду из выбранной роли. Пьер приходит в волнение от собственных фраз, несколько не трогающих мадам Дюмон-Дюфур, а поскольку он не бросает слова на ветер, его поезд уже отправляется в Косолапоград. Мимоходом Пьер вдруг обнаруживает, что названные страдания вполне заслуживают своего имени. И вот Пьера уже окружают тревожные лучи света и искривленные языки пла-

мени, посреди которых ему приходится бороться и барахтаться, даже не надеясь узреть простое светило.

Пьер называет себя паяцем, кривлякой, но самое печальное в том, что некоторые светочи, пусть их пламя и мутно, озаряют его так ярко, что он вдруг видит: оправдывая перед мадам Дюмон-Дюфур полковника, он не столько заступает за отца, сколько выступает против матери. Следует говорить не о чувстве сыновней любви или уважения, а о презрении и ненависти, которой отсвечивает презрение, – ненависти, вероятно, неосознанно питаемой мадам Дюмон-Дюфур к сыну, чье присутствие продлевает жизнь отвратительного человека, которого она никогда не пыталась полюбить или хотя бы понять.

Одним словом, это дуэль.

Пьер не имел возможности выбрать оружие и привилегии напасть первым. Занимая оборонительную позицию, он изо всех сил стремится доказать мадам Дюмон-Дюфур, что, если ее постигло то или иное горе, значит, она его заслужила, сама навлекла на себя. Пьер наносит несколько точных и прямых ударов, но, даже увидев, как мадам Дюмон-Дюфур побледнела, он вспоминает, что его силы ограничены болезнью, угрозу которой уже часто чувствовал. Всякий раз ему приходит на ум, что он должен принуждать себя к работе, долгим прогулкам, занятиям любовью и даже к пьянству и употреблению наркотиков, лишь бы ненадолго забыться. Но едва лишь безжалостное принуждение подействует, мадам Дюмон-Дюфур устраивала Пьеру по возвращении домой одну из тех сцен, которые она с величайшим мастерством умеет провоцировать по любому поводу и без повода, и

давала ему почувствовать, что в конце концов и он тоже отправится в преисподнюю, которую сам же пытается представить со всеми ее муками и безумием, дабы поразить и смутить собственную мать. Мадам Дюмон-Дюфур чувствует себя королевой в своей отёйской гостиной, точно Лукреция на скале, и, наблюдая за бушующим морем далеко внизу, смеется над терпящими бедствие судами. У нее есть центральное отопление, горячая и холодная вода над раковинами, ванная, электричество, газ, пассажирский и грузовой лифты. После очередных походов полковника, о которых гарнизонные дамы безжалостно ей докладывали, она всегда говорила:

– Смеется тот, кто смеется последним.

Мадам Дюмон-Дюфур, плакавшая уже не раз (сама не понимая, что от ярости), сегодня растягивает рот и смеется, пока полковник в психушке привыкает к смиренной рубашке.

Но этот молокосос Пьер не просто защищает отца, а в своей наглости доходит до того, что угрожает матери:

– Вы же христианка... Ад...

Ад? Помилуйте! Мадам Дюмон-Дюфур смеется еще громче. Пьер говорит об аде? Но ведь Пьер никогда не заходит в церковь и не причащается на Страстной неделе, хотя его достойная мать из кожи вон лезла, дабы воспитать в нем веру. Пьер говорит об аде, потому что ей якобы не хватает милосердия. Смех да и только! Пусть он сперва научится уважать свою мать, как она сама уважала собственного отца, председателя Дюфура. А там посмотрим.

Мадам Дюмон-Дюфур упивается зубоскальством и колкостями, упивается по-дилетантски и мастерски, не теряя хладнокровия, которое позво-

ляет ей управлять своей победой, дабы лучше ею насладиться. Она упивается, но ни на минуту не теряет самообладания, тогда как Пьер под конец запутывается в опасных извилистых мыслях, что затягивают его в трясину, в тьму кромешную – в Косолапоград.

Она смакует свой триумф, разнообразит его оттенки и вкушает на глазах у Пьера радости столь явно кровосмесительной неприязни, что тот, чувствуя озлобление и вражду по отношению к себе, неожиданно начинает шептать стих Расина, который не совсем понимал, когда его заставляли в лицее учить наизусть:

55

«В чертах отца – увы! – я находила сына»¹.

Черты отца.

Сходство дразнит мадам Дюмон-Дюфур, как красный шелк быка. Даже если бы Пьер не имел ничего общего с полковником Дюмоном, ни внешне, ни внутренне, сами разговоры об этом заставили бы его задуматься, какая связь может существовать между их двумя натурами, или, возможно, он просто начал бы безотчетно подражать отцу. Ведь если в семьях, где у неких личностей проявились хорошие либо дурные качества, вызывающие изумление наклонности и мании передаются от предков потомкам, если дети являются карикатурами или копиями того, кто выделился в пользу или за счет других, следует объяснять это не столько силой крови, наследственностью или какой-нибудь другой «естественной силой», а действием, оказанным речами тех, кто был современником великого человека (преступника, гения или даже просто оригинала).

1 Перевод М.А. Донского.

Так зарождается домашний фольклор, в котором люди служат символами той или иной наклонности. Так устное предание отравляет детей, если они не находят в себе силы превзойти того, о ком им рассказывают, предлагая его в качестве готового образца для подражания.

56 Например, у мадам Блок, в отличие от мадам Дюмон-Дюфур, нет агрессивных намерений, поэтому, несмотря на все ее усилия и на ухаживания Брикуле, ей никак не удается забыть о самоубийстве мсье Блока и она непроизвольно напоминает об этом дочери. Мадам Блок без конца думает о смерти мужа, но не просто вздыхает над своим горем, а жалеет Диану, которую считает обреченной на скорую и добровольную смерть. Наверное, она бы очень удивилась, если бы ей сказали (хотя это и секрет полишинеля), что сами разговоры о самоубийстве вполне могут привести Диану к такому же концу. Но пока что, напуганная злым роком своей семьи, мадам Блок уже почти готова считать Диану Ифигенией, которую ей когда-нибудь принесут с берегов Монпарнаса с простреленным виском, перерезанным горлом или посиневшим от яда лицом. И всякий раз после обеда, в маленькой гостиной на авеню д'Орлеан, когда юная дочь собирает перед уходом в мастерскую краски, кисти и карандаши, слышится монотонная жалоба, за которой следует неизменный совет:

– Берегись машин, моя Дианочка, но самое главное – не поддавайся грустным мыслям. Думай о матери. Если ты умрешь, я останусь одна на белом свете. Не бери пример со своего бедного отца. Ах, почему я не послушала твою бабушку с улицы Гренель-Сен-Жермен, которая вышла замуж за рыжего! А ведь эта милая женщина предупрежда-

ла меня перед замужеством. Ее слова до сих пор звучат у меня в ушах: «В семье Блоков много самоубийств, а самоубийство – это как морковные волосы. Если уж они есть в роду, от них не избавишься. Можно надеяться лишь на то, что они перескочат через одно-два поколения».

Диана уже надевает шляпку:

– До свиданья, мама.

Мадам Блок не отпускает ее, пока она не побойится, что никогда, ни в коем случае не покончит с собой. Диана со смехом клянется, но когда она уже спускается на два-три этажа, мадам Блок, все еще перевешиваясь через перила, напутствует:

– Главное – не поддавайся грустным мыслям.

Но хотя Диана посмеивается над бабушкой с улицы Гренель-Сен-Жермен и ее теорией о самоубийстве и рыжих волосах (как, впрочем, смеялась когда-то и сама дорогая Эрминия, когда решила назло всем выйти за Дмитрия Блока), подчас и она задумывается о самоубийстве как об угрозе, от которой никто не застрахован. К тому же эта угроза порой перерастает в соблазн, и нередко в минуты тоски, уныния или просто усталости некоторые способы самоубийства искушают ее, точно прохлада раскрытой двери на слишком жаркой полуденной улице. Тогда, о чем бы она ни подумала, все сводится к одному: «Мы неспроста живем на шестом этаже» или «Револьверы придуманы вовсе не для отстрела собак». Но у Дианы здоровый цвет лица, красивые мышцы и хороший аппетит, так что умозаключения типа: «Мы неспроста живем на шестом этаже» или «Револьверы придуманы вовсе не для отстрела собак» и прочие в том же духе не отравляют ее раз и навсегда, а действуют как прививка от болезни, которой она могла бы

заразиться при другой пропорции. Так, микробы, на первый взгляд, способные ее убить, напротив, оберегают от таящейся в них смерти. Тем не менее, легкая лихорадка и крошечный жар хотя бы ненадолго охватывают как сентиментальных привитых, так и непривитых.

58 Одним словом, замечания мадам Блок и мадам Дюмон-Дюфур о самоубийстве и безумии породнили Диану и Пьера, и их приобретенное родство крепло с самого начала, поскольку тоска Дианы с каждым днем проявлялась все острее, а тоска Пьера никогда не переставала расти.

Однако навязчивой идее мадам Блок не хватает топлива. К надоедливому однообразному припеву быстро привыкаешь, так что дочь больше не слышит жалобных монотонных причитаний.

Поэтому Диана не только не пришла в ужас от слишком тяжелого наследия Блоков, под которым, по мнению матери, она уже должна согнуть плечи, но выпрямилась во весь рост и вспомнила о том, что нужно глубоко дышать носом. Утром она открывает окно и подставляет грудь воздуху Монружа, вместо которого представляет, ради здоровья и хорошего настроения, трудолюбивое соседнее предместье. В конечном счете, не все ли равно, что мадам Блок в тысячный раз описывает свою гостиную, гостей, платье, чулки и туфли, пересказывает меню и карту вин на ужине в тот вечер, когда этот бедняга Дмитрий, в брюках в крупную клетку и рубашке без пиджака, тогда как он должен был уже час назад надеть смокинг... Да узрит милосердный Господь безумие в подобном поведении, и да распахнутся пред хозяином этого дома, вдруг потерявшим голову, врата рая, закрытые для самоубийц...

– Траляля-траляля-траляля, – напевает Диана, но вовсе не из дерзости, а лишь потому, что она молода, любит фрукты, танцы, предпочитает водку с лимонадом даже шампанскому и с наслаждением мечтает о горных тропках в сумерках или о морской воде, чей аромат впитывают на солнце ее руки пловчихи. Диана целует кожу, покрывающую бицепс, которым она так гордится. Эта кожа больше не пахнет солью – это парижская кожа. Париж. Сейчас она должна идти в свою мастерскую, вечером – в какое-то монпарнасское кафе, завтра – на бал в пользу каких-то русских, послезавтра... Ей приходит в голову, что все это будет так скучно, если Пьер... Она останавливается. Никакая работа, никакой праздник ей не в радость без Пьера. Ведь другие надежнее и даже обаятельнее, чем этот капризный и ворчливый большой ребенок. Но не все ли равно? И она уже думает о том, как утешит его сегодня, забывает о своем счастье, простом счастье существования, чтобы пожалеть Пьера, который сокрушается в своем вечно больном, то слишком горячем, то слишком холодном сердце. Нечто осязаемое и даже почти материальное внутри у него пугается, словно подошва ноги, ступающая на скалу, и вовсе не потому, что та тверда, а потому, что Пьер вечно преувеличивает, словно не чувствуя окружающей температуры: зимой замерзает настолько, что почти трескается, а летом нагревается настолько, что почти сгорает.

Руки у Пьера часто дрожат, порой ему не лезет в горло даже маленький кусочек хлеба, и потому Пьер завидует свежим щекам Дианы, ее аппетиту, а главное, спокойствию.

Пьеру каждый день приходится избегать какой-нибудь новой ловушки, которую мадам Дюмон-Дюфур расставляет с разнообразным и злб-

ным умением. Под ее взглядом, знакомым со всеми хитростями нападения, он готов в любую минуту капитулировать и твердит про себя, что никогда не избавится от своей навязчивой идеи и что, наверное, было бы лучше сдаться уже сейчас.

Что толку сдерживаться, мучиться, разрушать себя?

60

Пьер принимает душ, ежедневно проходит пешком десять километров, запрещает себе жевать губы, пытается строить силлогизмы, дабы придать своим грезам толику разумности, но та лампа, что постоянно горит за стеклами его глаз, всегда затмевает свет солнца и приглушает лазурь небес.

Пламя мерцает, но не гаснет и с тревожным упорством озаряет черные мессы в костяных нефях. Пьер стыдится лиц и тел, порождаемых сном и терзающих его по ночам.

Бежать? Звать на помощь?

Он шепчет имя! Диана.

Диана.

Насколько все стало бы проще, если бы она согласилась никогда с ним не расставаться! Лишь она умеет найти успокаивающие слова и развеять уныние. У нее точные ласки, четкие намерения, и она знает все большие и малые способы утешения. Так, доказав Пьеру, что он не должен считать себя обреченным на безумие только потому, что полковник тысячу раз написал одно и то же письмо мадам де Помпадур, Диана ведет его, ни о чем не подозревающего, к трем деревьям на берегу свинцовой Сены, что отбрасывают прохладную тень, о которой мечтаешь на слишком ярком, палящем солнце. Зимой Диана ведет его напрямиком на те улицы, где не дует ветер, дабы избежать его

иголок и колкой тоски. Если Пьер решает пойти в театр, ей достаточно лишь взглянуть на колонку Морриса, чтобы определить подлинную цену тех пестрых посулов, которыми их прельстила мозаичная афиша, и прийти к выводу, что если он посмотрит такую-то пьесу, чье название черным по зеленому или красному вначале их соблазнило, то вечер будет испорчен. Зато в каком-то местном театре играет иностранный актер, незнакомый широкой публике и снобам и презираемый критиками, но Пьер по достоинству оценит трехактную пьесу с его участием, которую дают как раз сегодня вечером.

Диана знает обо всем – по крайней мере, обо всем, что Пьер должен сделать, увидеть, услышать и прочитать, чтобы быть счастливым. Диана – это мудрость Пьера, который умиляется и думает, что наконец обрел в ней свое счастье.

Но почему он вдруг пожимает плечами?

Ухмылка. Диана – его мудрость?

Да, еще сегодня утром Пьер горячо взывал к ней из глубины своих последних, предрассветных кошмаров, омрачающих затем весь день. Еще во сне, пытаясь совладать с его ловушками, Пьер говорил себе, что она – его мудрость. Но теперь, по пробуждении, как не задуматься над тем, будет ли он, столь же мудрый, как она, впредь ее любить и так же нуждаться в ее присутствии или даже испытывать желание ее видеть? После того как наступило спокойствие, действительно ли он желает, чтобы она всегда оставалась рядом? Возможно, Пьер задается этими вопросами потому, что уже задумывается о тех временах, когда придется просто ее терпеть и она перестанет его притягивать.

Их будет связывать лишь чувство благодарности, а он не хочет быть связанным каким-либо долгом и уж тем более долгом благодарности.

62 К тому же Диана хорошо его знает (он не хочет признаваться, что она «любит» его до такой степени, что улавливает малейшие движения его души и ума) и вечно печалится, если он к ней неблагоприятен в душе или уме. Пьер вспоминает грустное лицо, что так часто вынуждало его ненавидеть себя, а также доселе простительные искушения, у которых не оставалось никаких оправданий, поскольку горе больше не могло служить им извинением.

Пьер предпочитает любое страдание тому стыду, когда Диана, часами успокаивая его изо всех сил, вдруг чувствовала, что она больше не нужна, причем чувствовала это так мучительно, что он сам раскаивался в собственном безразличии еще сильнее, нежели в преступлении.

Диана вставала и, несмотря на желание остаться, уже собиралась уйти. А Пьер был вынужден ее задерживать, умолять не уходить. Он просил ее положить ладонь на его горячий вечерний лоб, и она повиновалась с радостью, которую даже и не думала скрывать. Ее пальцы вновь занимали место на его голове, откуда их ощутимая прохлада прогоняла крошечных куколок горя, способных растоптать мозг. Но Пьер больше не нуждался в целебном прикосновении и злился оттого, что во все не находил в нем удовольствия, которое хотел бы продлить. Тогда он вспоминал рисунки в газете, на странице рекламы, где изображен добрый дух, который носит имя той или иной таблетки и волшебным магнитом вытаскивает из головы гвозди, вбитые туда неврастением, мигренью

или даже обычным несварением. Ведь как только Пьер становится счастливым и чувствует себя сильным, ладонь Дианы на лбу превращается в ненужный компресс.

Ладонь Дианы – ненужный компресс?

– Эгоист, – подытоживает Пьер и винит себя в несправедливости к единственному человеку, который его любит, но в то же время говорит себе, что, если бы он уступил, то дорожил бы этим не больше, чем лекарством, и ему стыдно. Стыдно не только за то, что он попытался дурно обойтись с девушкой, которая с готовностью делает для него добро, но, самое главное, за то, что чувствует себя опустошенным и не знает, какие поступки и слова спасут его от угрожающей тоски.

63

Пьер судорожно застывает в комичной позе.

Значит, он специалист по жалобам, такой же ограниченный, как мадам Дюмон-Дюфур, которая не знает, о чем говорить, после того как она заканчивает перечислять свои причины для злобы и мести.

Благодаря Диане в душе Пьера воцаряется покой, но, вместо того чтобы радоваться этому спокойствию, он ведет себя, подобно тем посредственностям, что извлекают определенный барыш из самого таинственного красноречия, пока болезнь вдохновляет их бред, но по выздоровлении не знают, что и сказать, помимо сущих банальностей.

Бессловесный Пьер твердит про себя, что его молчание не может больше продолжаться. Он молвит слово – любое. Но это слово звенит фальшивой монетой. Он пробует произнести фразу. Но его искренность позволяет придумать лишь это:

– Не хочу тебя прогонять, Дианочка, но твоя мать, наверное, ждет тебя к ужину.

– Ты прав, Пьер, я убегаю.

Оба встают.

Диана спрашивает:

– Что ты делаешь после ужина? С кем гуляешь?

В ответ Пьер бурчит все то же имя:

– С Брагглом.

– Значит, вы встречаетесь каждый вечер?

– Ну еще бы, у меня не так много друзей. Артур – один из тех редких людей, которые меня любят.

64

– Ты не всегда был в этом настолько уверен.

– Нам удалось несколько раз поговорить. Он нервный, слишком впечатлительный, но ручаюсь, что он так же привязан ко мне, как и я к нему. А ты что делаешь?

Диана молчит. Сомнение искривляет губы, пытающиеся улыбнуться, и веки, под которыми загораются глаза. Пьер думает: «Ей сказали, что мы с Артуром...» Он ждет слез, отмечает, что Диана ревнует его к Брагглу, и задается вопросом: «Эта ревность вызвана любовью или оскорбленной гордостью?» Но ему снова стыдно. Эта ревность, наверное, вызвана и любовью, и оскорбленной гордостью, но продолжит ли он мучить ту единственную, что приносит ему душевный покой, ради легкого удовольствия от игры? Пьер знает, что, если мадам Дюмон-Дюфур устроит очередную сцену, если Браггл не придет на свидание, которое назначил ему сегодня вечером, и если его ранит одно из тех слов или одна из тех пронзительных пауз, что Браггл использует с жестокой и уверенной грацией молодого зверя, завтра утром Пьер первым делом позвонит Диане и будет умолять пообедать с ним или встретиться с ним около двух часов в кафе на левом берегу, откуда они отправятся в утешительную прогулку по набережным.

Пьер называет себя подлецом, впивается ногтями в ладони, пытаясь себя наказать, клянется, что больше никогда не будет так отвратительно вести себя с Дианой, и, не желая видеть слезы, которые по его вине, возможно, брызнут, нежно ласкает губами ее глаза. А Диана забывает нетерпеливые жесты, краткие ответы и, главное, голос, каким он всякий раз говорит о Браггле, дабы подтвердить и даже подчеркнуть дурные намерения. Незачем так старательно выговаривать слова: она все понимает и мучается. Ведь Диана не только оправдывает Пьера, но и умудряется найти новые причины, для того чтобы его пожалеть и еще больше полюбить: «Бедняжка, – думает она, – как он, наверное, страдает от этого Браггла с его прихотями и кокетством». Диана прощает все человеку, чьи губы, смягченные раскаянием, чувствует на своих ресницах. Она поднимает голову и просит юношу (ей даже не нужно смотреть ему в лицо, чтобы почувствовать его стыд), чтобы он перестал себя так ненавидеть:

– Ты себя недооцениваешь, Пьер. Ты гораздо лучше, чем думаешь.

Но если Пьер лучше, чем он думает, и если он себя недооценивает, Диана приходит к выводу, что виновата она сама и только она, поскольку моральная точка зрения молодого Дюмона, по словам Дианы, искажена тем, что он переоценивает ее. Не потому ли Пьер так часто и с такой жестокостью бичует свою слабость, что полагается на здоровый вид Дианы, на фоне которого его собственные навязчивые идеи блекнут и становятся не столь угрожающими? Ну а девушка начинает злиться на ту силу, что не приносит ни добра ни пользы и проявляется столь прямолинейно, что не

помогает тому, кто в ней нуждается, а напротив, пугает его и формирует у него еще более невыносимое представление о себе самом.

66 Тогда Диана, больше не желая, чтобы Пьер считал ее безгрешной обладательницей настолько благоразумной плоти и настолько сильного духа, что ей не в чем упрекнуть себя даже в глубине души, приближает свое лицо к лицу Пьера и симулирует желание, притворяясь, что не в силах устоять перед главной страстью своих органов чувств, всей кожи, рук, дрожащих на плечах юноши, и груди, которая дышит все тяжелее и волнуется от грозowych туч. Глаза и ноздри Дианы расширяются, а шея обмякает: это должно навести Пьера на мысль, что Диана поддается искушению, и ее губы, подставленные для поцелуя, сначала легонько натягиваются, а затем разбухают и с греховной нескромностью прижимаются к губам юноши.

Но как не заметить по этому слишком широко раскрытому рту, что это не страсть, не желание, а лишь стремление произвести впечатление желания, страсти? Пьер тоже умиляется, понимая, что Диана пытается ему внушить: она тоже любит кожу, зубы, плоть вообще и не стесняется наслаждаться ею всякий раз, когда представляется возможность. Но эта хорошо и даже слишком явно рассчитанная чувственная грубость доказывает, вопреки ожиданиям Дианы, что обычно она не подставляет губы и подставила их Пьеру не столько из любопытства или с надеждой на какое-то удовольствие, сколько из чистого, простого и дружеского милосердия.

Одним словом, Пьер понял: она дорожит им и даже готова с легким сердцем предстать в его глазах, как и, наверное, в глазах других, девушкой,

много повидавшей на своем веку, только бы он не отдалился (к тому же Пьер знает: Диана свято верит в него, в его привязанность, ведь малейшие сомнения могли бы его оттолкнуть). Прежде всего Диана не хочет, чтобы Пьер перед ней краснел, и поэтому она не только готова прослыть кокетливой, легкомысленной, чувственной и даже, если понадобится, одержимой, но постоянно проявляет решимость долго терпеть и, заявляя, к примеру, что не станет слушать никаких сплетен, в мастерской или у друзей, пытается игнорировать очевидное, легкомысленно выбросить из головы даже фамилию Браггла и не обращать внимания на все те искушения, сомнения и навязчивые идеи, которые в несколько слоев, переливаясь оттенками, опоясывают Пьера радугой уныния.

Прозрачность первого поцелуя Дианы позволила Пьеру разгадать все намерения той нежности, что так великодушно ему дарилась, и это простодушие, скромное и одновременно страстное, вызвало у него очередное раскаяние, сама мысль о котором была ему доселе неизвестна. Пьер решил, что связан по рукам и ногам, и впредь не раз твердил про себя, что величайшим даром, который женщина или девушка может принести мужчине, как раз и был этот поцелуй ангела, из милосердия перенимающего повадки шлюхи.

Ангел, из милосердия перенимающий повадки шлюхи? Он упрекал себя в романтизме, но, тем не менее, повторял чуть ли не в мистическом экстазе эту формулировку, что доводила его до слез, когда он гладил Диану по затылку, приговаривая:

– Диана, Дианочка моя.

Пьер произносил эти слова тоном грешника, который поблагодарил бы святого, явившегося в минуту самого большого раскаяния, если бы этот

святой всего лишь поведал о своей жизни, пестрящей ошибками, схожими с теми, что совершают самые неприметные и греховные существа, поведал с единственной целью – указать, что даже возвышенные создания познали искушения и поддались им, прежде чем обрести райское блаженство и покой.

68

– Диана, Дианочка моя, – твердил Пьер со страстью в голосе, и девушка уже надеялась, что из светлой дружбы разгорится ослепительный огонь любви. Да и сам Пьер задавался вопросом, не достиг ли он кульминации (хотя и чувствовал, например, что не согласился бы принести Диане те жертвы, что ежедневно приносил Брагглу), поскольку он обожествлял Диану (при этом ему не нужно было боготворить Браггла, для того чтобы облагораживать свое влечение и потребность) и поскольку готов был забыть обо всем ради этой милой и простой девушки. Он познакомился с Дианой в монпарнасской мастерской, танцевал с ней на балах художников, где она вела себя без ханжества, но и без пошлости, никогда не соблазняясь и уж тем более не оскорбляясь, не запятнав себя ни единым жестом, словом или поступком. Казалось, она принадлежала к каким-то бестелесным существам, а не к роду человеческому, от которого разило одновременно безумием, страхом и слезами.

– Диана, Дианочка моя, – твердил Пьер, мысленно запрещая себе называть ее дочерью мсье Блока, который повесился в брюках в крупную клетку, и толстой, дряблой, плаксивой мадам Блок.

Иными словами, через пару минут после того, как Пьер называл Диану всего-навсего ненужным компрессом, он был вынужден признать, что

она исцелила его не благодаря конкретной помощи или действию, свойственному лекарству, а каким-то чудом. Диана носила в себе его силу, и оно озаряло все ее существо благодатью, чья загадка вдруг заставляла окрестить ее «божественной».

Тогда он говорил себе, что лучше упрости Диану остаться с ним на всю жизнь, что это принесло бы ей великую радость, а ему самому великое спокойствие. Но как только Пьер пытался точно указать и наметить удел, который лишь доброта Дианы позволяла ему приукрасить, он уже терял всякую уверенность, откладывал все на потом, ни о чем не просил и в тот самый миг, когда твердил про себя, что поклоняется Диане, вспоминал, что сегодня он получил общее представление о том, какой стала бы их совместная, «небожественная» жизнь.

Вначале – умиление, забвение полковника и его безумия, мадам Дюмон-Дюфур и ее злобного мщения. Безмятежные ночи приходят на смену нестрашным дням. Прохладное и послушное тело прижимается к нему, навевая не кошмары, а приятные сновидения на широкой кровати. Даже во сне Пьер не вспоминал бы, как он одиноко гулял до рассвета по улицам города, где прохожие бросали хищные взгляды.

Он забыл бы о Брагле с его неодолимыми приключениями и с теми приключениями, куда он без конца втягивает Пьера, словно ему приятно представлять, как тот будет мучиться на следующий день от похмелья, отвращения и страха. Если Диана будет рядом с Пьером, все его беды и печали изгладятся из памяти. Он станет счастливым, причем настолько, что сам перестанет себя ощущать. Но

Пьер уже ухмыляется. Диана надевает шубу. Он проводит ее до двери и молча отпускает. Они вместе? Их счастье? Полноте! Эта песнь любви была бы ничем не лучше журчанья воды в закипающем чайнике.

70 Если бы Пьер меньше любил Диану, наверное, он согласился бы сделать ее сиделкой, даже если пришлось бы ее прогнать, как только он выздоровеет. Тогда Диана, возможно, вспомнит, что самоубийство – как морковные волосы. Морковные волосы – это самоубийства в семье Блоков? Пьер предвидит смерть Дианы, принимает ее, смиряется с ней. Значит, он сойдет с ума и станет не просто безумцем, а гнусным злодеем, и значит, права мадам Дюмон-Дюфур, которая приписывает ему самые низменные инстинкты? Диана – единственный человек, в ком он всегда обретал спасение. Пьер знает это настолько хорошо, что окружил ее целым литературным каноном, но, несмотря на все, чем он ей обязан, додумался до того, что готов систематически использовать ее с еще большей выгодой, а попользовавшись, выбросить на улицу, обречь на гибель. Пьер считает себя мужчиной, хотя на самом деле он ребенок во власти кошмаров: если он злоупотребит доверием своей помощницы, чего от него ждать в дальнейшем? Тогда раскаяние, конечно, полностью одержит над ним верх, и, наверное, он уже умоляет Диану простить ему эти мысли. Диана, мудрая дева, появляется везде, никогда не теряя своей улыбки и коробки с красками. Диана сильнее Пьера, и ей удалось не опьянеть от зрелища бед, уготованных для нее слишком рано. Диана, мудрая дева, жалеет тех, кто пьянствует, прожигает жизнь, плодит пороки. Она знает, что Пьер скоро погибнет, если рядом с ним не будет того, кто защитит и поможет.

Пьеру некуда бежать одному. Сколько раз, устав от самого себя, он спускался на улицу во все не для того, чтобы попросить о помощи, а за тем, чтобы заблудиться в безымянном парке, и заставлял себя верить, что это самая прекрасная из его надежд. Пьер шел, не встречая на пути той невыразимой и неясной грезы, в которой хотел раствориться. Он шел, и ничто не притягивало его взор. Слабое свечение на сырой земле погружало в уныние. Он шел, и холод обволакивал его под одеждой, под нижним бельем. Зубы стучали. Страдал только скелет, причем весь целиком, ведь этот скелет уже пожрал его плоть. Части тела, еще способные к счастью, увядали. Руки в карманах напоминали высохшие, выцветшие цветы. Тогда Пьер заходил куда-нибудь, но вовсе не для того, чтобы получить конкретную человеческую помощь, пытаясь отсрочить крах какой-нибудь чужой поддержкой и не зная, что делать с телом, в котором обитала родственная душа. Пьер вспоминает. Он закрывает глаза, делает вдох, что-то глотает, и через десять минут веки уже не боятся раскрываться, ведь на месте старых обломков расцветает новый мир.

Тело перестает быть плотью, обреченной невзгодам. Телу больше не холодно. Оно скачет, порхает – легкое, как песенка под полночным солнцем.

Полночное солнце!

Но увы, часы только что пробили семь. Пьер должен вспомнить о маленькой отёйской гостинице, где он сидит неподвижно, пока два глаза подвергают его самому строгому осмотру. Сегодня вечером на свете уже не осталось никакой доброты. Даже улица настолько подчеркивает свою жесто-

кость, что не вселяет ни единой надежды – приманки для усталых, промокших ног в удрученных вечерних туфлях. Да еще насмежаются газовые рожки. Пьер знает, что они отбрасывают на землю звездочки, когда тротуары больше не приукрашивают себя никаким искупительным соблазном под взором, полным раскаяния. Безмолвно застыв в кресле, окруженном полумраком, похожим на душливую вату, Пьер даже не хочет бежать из этого дома, от этого взгляда.

Было бы невыносимо смотреть на люстры в окнах столовых, словно заключающие счастливые семьи в зеленые скобки. Пьер ухмыляется. Столовая, люстра, семейное счастье и зеленые скобки. Не хватает только супницы и милого букета. Нет, он ни за что не подарит Диане таких цветов, а ведь они невиннее полевых.

Синие и розовые пятна на антресолях, не сулящих приключений, но и не таящих опасностей, где один палец воскрешает «Лунный свет» и все другие мелодии, которые позволяют людям жить в святой простоте, продолжая свой род. Подобные мелодии никогда не заглушат тех притворных песен, что сначала вкрадчиво шепчут, а затем становятся агрессивными, орут, набрасываются, нападают и с чавканьем пережевывают мозги. Пьер говорит себе, что обречен слушать, ничего не понимая, оркестр, каждый инструмент которого будет изобретать все новые и новые пытки. Смычки у него на веках извлекают целый аккорд из одной слезы, пока начальник вокзала беды, мадам Дюмон-Дюфур, повторяет:

– Поезд отправляется в Косолапоград!

Косолапоград? Безумие? Опять? Снова? Хватит! Он будет сильным. Кулаки сжимаются, а ногти впиваются во влажные ладони, которые на-

конец обретают уверенность, и через эту небольшую, но несомненную боль Пьер попытается возродиться, поставить себя границы. Он уже хочет пойти дальше собственных мыслей, заглушить проклятые шушуканья, ускорить шаг, повысить тон, стать хозяином своей судьбы, то есть управлять всем внутри и вокруг себя, чтобы сны и образы больше не заставляли его врасплох, если ему это не по нраву.

Если ему это не по нраву? Стало быть, он признается в пристрастии к некоторым кошмарам... Признается, но в то же время говорит себе, что эта откровенность непременно поможет ему совладать с самим собой, да к тому же он вполне способен логически мыслить, ведь у него светлая голова.

Но если голова светлая, это еще не означает, что она непроницаема. Наутро после бури, продуваемая всеми ветрами, она напоминает плод, тяжелый от горькой росы сновидений.

Сновидения.

Пьер хорошо знаком со всеми – начиная с тех, что смешат, и заканчивая теми, от которых на рассвете слезы прокладывают на лице дорожки, не ведущие никуда. Как только веки смыкаются, он вспоминает, как прошлой ночью мадам Дюмон-Дюфур в розовой комбинации и длинной траурной вуали кувыркалась в парижском небе, дрыгала ногами (их удобка всегда казалась ему признаком породы) и кричала с такой горячностью, что ее можно было услышать от Бастилии до Порт-Майо и от Монмартра до Монружа:

– Поклянитесь, поклянитесь! Я тоже могу потерять колье и показать задницу! Я – звезда, падающая звезда!

Но тут вдруг падающая звезда исчезает, и поскольку Пьер не поклялся, он вынужден идти в темноте. Он слышит, как его приговаривают к одиноким блужданиям по дворцу Лувра, пока он не отыщет свои глаза, которые по оплошности выронил из орбит (Пьер не помнит, где именно), – в пухе, которым недавно заполнились все залы музея. Перышки липнут к губам и ноздрям, набиваются в пустые глазницы и рот. Пьер задыхается, хочет крикнуть, но не может и наконец плачет такими горячими кровавыми слезами, что просыпается от боли в ошпаренных руках.

Мадам Дюмон-Дюфур то хохочет, то плачет, становясь кометой в небе столицы или испугом в погибших глазах. Но его сновидения вовсе не ограничиваются ночами и отбрасывают свою тень на дни. У сна и впрямь много ловушек. Например, лежа один в постели, Пьер тонет в простынях и часто даже не в силах различить электрическую лампочку – этот якорь спасения. Пьер Дюмон, несчастное судно из плоти, скоро погибнет вместе со всей командой. Пусть же он исчезнет в волнах, и пусть поскорее все закончится. Так, по крайней мере, можно будет избежать кораблекрушения у берегов Косолапограда.

Косолапоград, кораблекрушение, волны. Это было бы слишком просто, слишком красиво. Исчезнуть в волнах. Полноте! Сейчас Пьер видит, как он лежит в постели, ему нужно вставать и вновь приниматься за дневные дела.

Тогда Пьер вспоминает о зеркалах, куда он смотрится, сам того не желая, не узнает себя и все же не может не считаться с тем, что человек, которого он видит, носит имя Пьера Дюмона. Он щипает себя, но ему не больно, хотя боль была бы

естественной. Ах, если бы только зеркала! Еще есть винтовые лестницы. Неизвестно, куда идешь. Поднимаешься, спускаешься, боишься, надеешься и вдруг сталкиваешься нос к носу с неопределенным существом, которое нельзя назвать человеком, хотя у него есть голова, туловище, две руки, две кисти, две ноги, две стопы. И приходится подниматься задом наперед, поскольку этого требует чудище. Однако не успеваешь ступить и трех шагов, как легкий озноб, вцепившийся в позвоночник крепче плюща, обвившего дуб, предупреждает о присутствии существа, столь же реального и неопределенного, как и первое, которое обязывает спускаться, подобно тому, как первое неумолимо заставляло подниматься. Пленнику двух равновеликих и противоположных сил, не способному ни двигаться вперед, ни отступить назад, однако подталкиваемому к тому и другому, остается лишь быть раздавленным, пока мадам Дюмон-Дюфур, в ночной рубашке с жабо, в бигуди и папильотках, в ботинках на пуговицах по моде 1900 года, машет чайной салфеткой вместо флага и свистит в грошовой свисток!

Поезд отправляется в Косолапоград.

Косолапоград. Безумие?

Быть может, неспроста он обвинял себя в слабости? Беда в том, твердил про себя Пьер, что он слишком сильно ее любит и потому не может требовать от нее никакой реальной жертвы. Только этот человек помог бы ему избавиться от страхов, которые ему хотелось назвать пустыми, однако Пьер снова и снова повторяет про себя, что от них и погибнет. Беда в том, что, любя Диану, которую он окрестил «девушкой с миротворными перстами» без малейшего намека на романтическое пре-

увеличение, Пьер не хочет использовать ее как сиделку и в то же время волей-неволей признает свою неспособность всегда жить рядом с ней или хотя бы выносить ее присутствие, как только наступает покой. При этом он не мог бы обойтись без Браггла, хотя тот постоянно создает все новые поводы для уныния и даже мучений. А поскольку Пьер не хочет отказываться ни от Дианы, ни от Браггла, ему кажется, что эта невозможность выбора приведет его к окончательному одиночеству. Не в силах выносить подобную пытку, он предпочел бы отказаться от самой жизни.

Но такие громкие слова и высокопарные выражения, как, например, «отказаться от жизни», внезапно заставляют Пьера спотыкаться на слишком гладком и легком пути, которым он охотно пошел бы до самого океана смерти или забвения. Споткнувшись, он вынужден четче себя осознать, ощупать, сказать себе, что опасность, возможно, вызвана тем, каким образом он представляет свою муку, а не самой мукой. Пьеру даже начинает казаться, что он мошеннически соорудил из отдельных снов или ощущений на фундаменте, которым служило помешательство полковника, возможное будущее безумие Пьера Дюмона.

Однако, сомневаясь в ясности своего мышления, вопреки утверждениям хиромантов, что у него отменная линия головы, Пьер хочет найти поводы для оптимизма в собственном теле, хотя первым же признает слабость своих рук и грудной клетки. Но хотя мадам Дюмон-Дюфон не упускает случая назвать его заморышем, ему хочется верить, что его телесная оболочка не так уж плоха. Ведь один боксер и силач, разбирающийся в этих вопросах лучше мадам Дюмон-Дюфур, сказал, впервые увидев его голым:

– Ты, конечно, тощий как глиста, но это еще не повод называть тебя недоделанным.

Вслед за этим общим мнением шли частные оценки, вспоминая о которых, Пьер краснел, но уж точно не от стыда.

Дюжий детина, возможно, и смотрелся нелепо со своими комплиментами, но, с другой стороны, зачем признавать правоту мнений, высказанных мадам Блок и мадам Дюмон-Дюфур за чашкой чая? Ведь не станет же Пьер пересматривать все свое мировоззрение только потому, что одна невежественная мешчанка ответила другой невежественной мешчанке, спросившей, не является ли ее сын ненормальным: «он слегка вырожденец»?

77

Но раз уж мадам Дюмон-Дюфур, к сожалению, существует, пусть она хотя бы оставит своего сына в покое. Ну а сын говорит себе, что лучше выказывать такой матери молчаливое презрение, которое обладает хотя бы тем преимуществом, что может сойти за простую холодность и даже уважение. К тому же за двадцать лет вынужденного каждодневного наблюдения он узнал ее слишком хорошо, и она больше не интересуется его настолько, чтобы на нее можно было сердиться. Мадам Дюмон-Дюфур была красива и несколько необычна, поэтому неудивительно, что Пьер наперекор себе проявляет к ней внимание. Однако он так внимательно за ней наблюдал, что узнал обо всех ее недостатках, в том числе – дряблой и шершавой коже с такими огромными порами, что в них можно вставить цветок или вымпел. Когда Пьер видит, как она неподвижно сидит в кресле, он думает, что ее тело под платьем без талии занимает не больше места, чем вешалка. Он с большим трудом воображает реальное наличие этого тела, саму его

возможность и никогда не поверил бы, что сам из него вышел, чтобы продолжить его существование. Поэтому, когда мать, например, упрекает его в нелюбви к своим родным, Пьер говорит себе, что не знает, кого мог бы назвать «своими родными». Ведь самая элементарная гигиена требует, чтобы он изолировал себя от полковника с его безумием, а с другой стороны, считал мадам Дюмон-Дюфур домашней выдумкой – конечно, более устойчивой и громоздкой, но, по сути, такого же рода, как и придуманная ею подставка для зонтов с марокканскими медными блюдами.

В действительности на страстное чувство своей матери (чувство ненависти, но все-таки страстное) Пьер никогда не отвечал каким-либо чувством, которое само по себе обладало бы силой. Его злость была продиктована как раз убежденностью в своем уме и тем, что из-за слабости он позволял самоутверждаться за счет собственной свободы и духовного счастья существу агрессивному. А ведь поначалу он считал, что мать представляет не больше ценности, чем неодушевленный предмет, лучшим из возможных отношений к которому было безразличие.

Впрочем, не это ли безразличие осеняло мирным покровом ранние годы Пьера? В дальнейшем оно показалось ему противоположным тому, чем, наверное, было на самом деле. Поэтому он смутился и даже задумался, не принадлежат ли его глаза, уши и тот скрытый орган чувств, позволявший лелеять незримое, что он на своем детском языке называл «сердцем», маленькому разбойнику, поскольку, подслушав однажды разговор на кухне и пытаясь четко представить то таинственное влияние, которое, по утверждению кухарки,

женщина непременно оказывает на мужчину, Пьер никак не мог поверить, что его мать обладает какой-либо прелестью и способна некими телесными или душевными особенностями заинтересовать такого человека, каким был его отец и каким станет он сам. С другой стороны, Пьер никогда не испытывал к материнской груди того любопытства, что заставляло его млеть перед корсажами посетительниц, у которых полковник любил долго нюхать руки, или той приятной истомы, что вынуждала Пьера резко останавливаться перед девушками в облегающих кофтах, продававшими зимой на улице фиалки, – в пору красных шаров он называл их «цыганками».

Поэтому позднее, когда боксер, встреченный в баре, предложил дать Пьеру уроки физической культуры, с улыбкой, чей смысл Пьер с ходу не уловил, и сказал:

– Ты тощий как глиста, но тебя нельзя назвать недоделанным, – и когда Геркулес с переломанным носом, но розовой кожей попытался взволновать эту глисту пиццикато, разумеется, не рекомендованными ни одним пособием для гармоничного дыхания, с упражнениями для рук, ног и туловища, юноша поначалу удивился тому, что его взбудоражили эти смягченные, но явственные грубости. Однако потом он вдруг подумал, что тело и жесты мадам Дюмон-Дюфур в конце концов сделали его внимательным к малейшим несовершенствам так называемого прекрасного пола. Поэтому радости, о которых его впервые заставил предположить атлет, показались ему естественнее других – тех, что, несмотря на разочарования нескольких ночей, проведенных в постели с женщинами, Пьер упорно продолжал считать единственно возможными и наиболее возбуждающими.

Хотя женское тепло по-прежнему будило его желания, причиной этого была не женщина, а, скорее, тепло, и если Пьер выражал эти желания, чей объект он перестал уважать, в собачьих грубостях, то требовательная похоть, которую его партнера поначалу принимала за любовную страсть, вскоре уступала место такому отвращению, что он тут же выпрыгивал из постели. Поэтому вскоре бесхитростная девичья плоть уже ничем его больше не прельщала.

В то же время, вспоминая жесты атлета и, возможно, заключавшееся в них блаженство, Пьер начал смотреть на юношей не совсем товарищеским взглядом. Например, когда он рисовал эскизы в мастерской, то, стремясь забыть о неряшливой бабе, служившей моделью, в шутку представлял вместо этой обнаженной с бледными сосцами и ягодицами своего соседа, волей-неволей замечая про себя, что у него изящные ноги, узкая талия и безупречный торс. Не возникало и мыслей о том, чтобы считать толстую девку созданием, которое можно желать, целовать и трогать. Не в силах признать, что она обладает хотя бы малейшим достоинством живого существа или представляет интерес как предмет для рисования, Пьер забывал о ней, и она таяла и разрушалась, пока его пальцы произвольно, не повинуюсь ни уму, ни взгляду, открывали на бумаге целый человеческий материк, запечатлевая простыми линиями идеальные пляжи. Его глаза, нос, рот – все в нем расцветало для счастья и волнения – испытывали лишь одну потребность, одно желание: разведывать тайны выдуманных карт, их полуостровов и равнин. Взгляд незнакомого юноши, его соседа, улавливал Пьера, точно сетью.

Но, услышав какое-то слово или заглянув в блокнот соседа, Пьер вдруг вынужденно вспомнил о модели, злился на себя за то, что не совладал с собой, и привычно упрекал карандаш в предательстве, тогда как это было откровение. Пьер собирался совершить над собой насилие и снова взяться за эскиз, но, как ни пытался воскресить толстуху, ее существование оставалось маловероятным, ведь между ними ослепительно сияла необузданная молодость, не стесненная никакой телесной конкретикой.

После сеанса он ответил Диане, которая наблюдала за ним из глубины зала и затем спросила, почему он так мало смотрел на модель:

– Ребенок Септентрион танцевал в театре два дня и приглянулся¹.

Диана вспомнила, как накануне они поклялись, что у них не будет друг от друга секретов, но даже не подумала упрекнуть в несоблюдении этого маленького договора. Она довольствовалась расплывчатой фразой, не пожелав замечать ее прозрачности. Ну а Пьер слегка застыдился, но, не в силах признаться и даже объяснить, попробовал улыбнуться, однако его губы с таким трудом раскрылись в некое подобии радости или удовлетворения, что, казалось, их просто разрезала надвое тонкая горизонтальная линия.

Тогда Пьер заговорил мягким голосом, словно ему за многое нужно было извиниться, предложил проводить девушку домой и прижался к ней плечом, но так и не смог раскрыть свои мысли и свою душу, которая заблудилась, как он чувствовал, в неясном тумане.

1 Эпитафия с древнеримской стелы в Антибе, посвященной двенадцатилетнему танцору. Упоминается в «Истории Франции» Мишле.

Дойдя до дома мадам Блок, Пьер с рассеянным видом попрощался, невнятно отказавшись от чашки чая, на которую пригласила его Диана. Она почувствовала, что он где-то очень далеко, и сошла с лица. Их затапливал унылый, серый прилив. День закончился. Неподвижный и молчаливый Пьер на краю тротуара, похожий на виноватого, который хочет стать посторонним, и Диана, слишком хорошо понимающая, что любая фраза будет бестактной, и готовая расплакаться, не в силах скрыть свое огорчение, чтобы резко уйти без единого слова. Подавив ком в горле, она попрощалась:

– До свиданья, Пьер.

– До свиданья, Диана, – ответил он так медленно и тяжело роняя слова, что она даже не удивилась неподвижности руки, не протянувшейся на прощанье. Пальцы Пьера стали для Дианы удручающе безмянными. Ей показалось, что они навсегда лишились той теплоты, которую она любила чувствовать на своей шее, и Диана больше не могла ни утешиться, ни заговорить равнодушным тоном. Она чуть не поперхнулась на словах:

– До свиданья, Пьер. С утра пораньше позвоню.

Она позвонит с утра пораньше. Диана удаляется решительным шагом, а Пьер пытается убедить себя, что она не расстроена и даже не сердится. Но все-таки он должен был увидеть, как дрожит у нее в руке готовальня, и ему навсегда запомнится, как ее душили рыдания, пока она произносила банальные фразы:

– До свиданья, Пьер. С утра пораньше позвоню.

Стоя один посреди улицы и не зная, куда идти – куда ему хотелось бы пойти, – Пьер укорял себя за полусонное состояние, безразличие

ко всему, помимо изящных ног, узкой талии, безупречного торса, – безразличие, в которое он впал по вине (или по милости?) своего соседа в художественной мастерской.

Глаза его были закрыты, а уши запечатаны, но вместо того, чтобы признаться в простом желании, Пьер предпочитал обвинять во всем какие-то чары и считать себя жертвой сглаза. Ведь, хотя он и не досадовал на себя за то, что забыл о модели – той толстощекой бабе на помосте, как не укорять себя, что его взволновала не какая-то загадочная личность, а лишь части тела простого смертного?

83

Этот простой смертный даже не посулил никакого экстаза высшей пробы, но по его вине Пьер уже проявил к Диане равнодушие, если только не презрение. Он вдруг попытался взять себя в руки, но, изо всех сил желая, чтобы девушка по-прежнему верила в его нежность, сумел выдавить из себя лишь жалкое ее подобие. Пьер твердил имя «Диана», и его рука, прижимаясь к руке той, кого он призывал, пыталась стать настойчивее, нежнее, но тщетно. Локоть выпускал стрелы защитных, приятных желаний. Напрасные стрелы. Мышцы от плеча до кисти были расслаблены. Рукав мужского пальто лежал на рукаве пальто женского, и Пьеру вскоре почудилось, что оба пусты, что под тканью скрывались даже не кости скелета, а бесстрастные палки. Чувствуя, что, несмотря на ее присутствие и свое упорное стремление не упустить ни малейшей детали этого присутствия, он забывал о своей лучшей, самой преданной из своих подруг, о своей единственной подруге, Пьер винил судьбу в том, что не был ее хозяином.

Но Пьер уже говорил, оправдываясь перед собой, что, пусть он и не был хозяином своей судьбы, он больше не мог им быть ради счастья Дианы

и своего собственного, а стало быть, он не виноват. Однако вскоре происходит новый резкий скачок. Пьер стыдится своей трусости и журит себя:

– Значит, ты не мужчина, бедняга Пьер?

84

Тогда он решает, что в будущем его откровенность больше не будет ограничена ни в мыслях, ни в словах, ни в делах никакими слабостями, в особенности сентиментальными. Поэтому он больше не будет жалеть Диану, ходить с ней под ручку и провожать до двери, если ему хочется пойти в другое место. Пьер не будет бояться ни грубости, ни цинизма. Он смело заговорит о своих наклонностях. Решено. Смело говорить о своих наклонностях – вот и все. Иными словами, в следующий раз Пьер не будет провожать девушку домой из мастерской и, вместо того чтобы увиливать от ее слишком прямых вопросов при помощи фраз типа: «Ребенок Септентрион танцевал два раза и приглянулся» или еще какого-нибудь пустословия в том же духе, он заявит ей напрямик: если он не смотрел туда, куда должен был смотреть, и решил не слушать того, что она собирается ему сказать, это означает, что его сейчас совершенно не волнуют никакие Дианы во всем мире. Пьер полностью поглощен одним-единственным влечением к юноше и ради его тела готов отправиться на край света, ну а тем временем попытается выяснить, в какое кафе тот ходит. Разумеется, Пьер оставляет Диану с ее добродетелью и готовальней на краю тротуара, и ей останется лишь вернуться к дорогой мадам Блок. Впредь ей лучше оставаться со своей матерью, нежели бегать по мастерским и вечеринкам, куда ее влечет вовсе не любовь к живописи или танцам, а лишь желание помешать Пьеру пускаться в похождения, для которых он предназначен.

Минуту назад он упрекал себя в том, что дурно обращается с Дианой, а теперь вдруг она сама становится обвиняемой. Вечная история: нежность, когда Пьер в ней нуждается, и безразличие, несправедливое презрение, как только она ему больше не нужна?

Сейчас Пьер считает, что его не в чем упрекнуть, и сердится лишь на девушку, которая, по его мнению, стремится женить его на себе. Он ходит туда, где надеется встретить юношу с изящными ногами, узкой талией и безукоризненным торсом, вовсе не для того, чтобы удовлетворить собственное желание, а, скорее, для того, чтобы отомстить Диане, ведь она обрекает его на раскаяние и будет и дальше мешать ему жить по-своему.

Пьер отыскал своего соседа по мастерской и считает, что судьба перед ним расщедрилась, поскольку ему сказали, что этот сосед – вовсе не вульгарный мазила, а молодой музыкант, который недавно написал партитуру для балета. На балет Пьер не ходил, но слышал о композиторе Артуре Браггле.

Артур Браггл. Это имя, еще никому не известное пару месяцев назад, окружено ореолом тайны. О нем рассказывают всякое, но правда, кажется, не настолько дурна.

Браггл приехал из Америки. Он мыл посуду и стаканы. В Гавре ему даже не на что было купить билет третьего класса до Парижа. Тогда он устроился пианистом в захудалый кабачок. Для американских матросов – негров, приходивших скоротать ночь за последней порцией спиртного, – он вспоминал какие-то мелодии – букеты, сорванные в прежней, бурной жизни. Глаза его вдруг загорались, словно их веки росли до тех пор, пока между

ними не оживало целое море, а ноздри широко раздувались, вдыхая запах алкоголя из его же рта, точно цветок, вдыхающий собственный аромат. Подобно медиуму, что по столь бесчувственному материалу, как вощенный дуб первого попавшегося стола, способен разгадать тайны будущего, Артур, чьи кисти становились все длиннее и изящнее с каждой нотой – такими длинными и изящными, что казалось маловероятным, будто эти властные лианы на клавишах, обвивающие мелодию крепче плюща, служат продолжением простого человеческого существа, Артур полностью забывал о своем прошлом и настоящем ради абстрактной, бессловесной грезы.

В один из вечеров, когда эти пальцы становились щупальцами насекомого, постигающими тайну, Артура нашел какой-то импресарио, директор дансинга, который пригласил его в Париж дирижировать джазовым оркестром. Но этот человек его бесил. К тому же у мсье Артура было чувство «собственного достоинства». Не затем он пересек океан, чтобы развлекать по ночам снобов Старого и Нового Света. Как только у Артура завелось несколько сотен франков, он поправил свои дела, вновь обрел свободу и поселился в пансиончике рядом с Ботаническим садом. В чемодане у него лежали смокинг, три шелковые рубашки, пара скверных костюмов, книга Рёскина и репродукции мастеров кватроченто. На стол он поставил фотографию негритянки, с которой познакомился в Чикаго: ему нравились ее зубы, детский взгляд и жалостливый голос. Из-за этой негритянки он поссорился там, в Америке, с лучшими университетскими друзьями. Он считает Францию идеальной страной, страной свободы,

потому что здесь можно хранить у себя в комнате фотографию цветной женщины. Он покупает трактаты по гармонии. Трудится каждый день, а по ночам гуляет в одиночестве по Парижу, который мечтает завоевать. Он бродит под дождем, засунув обе руки в карманы пальто-реглана, которое перестает быть таким уж непромокаемым. Он открыл для себя Сену с ее набережными, узнал, что лук-порей называют спаржей для нищих и что в некоторых бистро если хотят бутылку вина, то заказывают «кило белого». Он прочитал «Ночь в Люксембургском саду» Реми де Гурмона и случайно наткнулся на смешную и очаровательную маленькую железную дорогу, что спускается по бульвару Сен-Мишель и доходит до Центрального рынка, где овощи красивее цветов. Он обошел все улицы Монмартра, но из-за бедности так и не забрел ни в один бар, хотя, впрочем, местный джаз показался ему с тротуара намного хуже того, что играли в Нью-Йорке. Он часто мерзнет. Он уже готов расплакаться – еще чуть-чуть, и он вернется за фортепьяно в ночной погребок, который так ненавидит. Однако он собирается с силами, твердит про себя, что должен стать одним из королей Парижа, золотой молодежью и что при некоторой сноровке можно превратить в новый предмет обольщения что угодно – даже свое смешное имя.

Каждый вечер он ведет сам с собой беседы, в которых называет себя иностранцем по имени мсье Артур. Он чуть не заплясал от радости, когда служанка семейного пансиона впервые произнесла его имя, из машинального личного любопытства прочитав его на бланке, который должен заполнить каждый вновь прибывший.

В общем, мсье Артур, гуляя под дождем парижскими ночами, в десятый, в сотый раз повторял себе, что сохранит мужество, не замерзнет и будет работать.

И мсье Артур действительно был мужественным, не мерз и работал.

88 Он уже разменял последнюю сотенную банкноту, как вдруг по чистой случайности, каким-то чудом познакомился с румынкой, которая за двадцать лет пять раз поменяла фамилию, религию и гражданство. В ту пору она была женой скандинавского дипломата и в этом качестве входила в почетный комитет Датских балетов. Она узнала, что Артур – композитор, пригласила его к себе и попросила рассказать о своей жизни. Тот чисто инстинктивно справился с этим на славу. Как только он закончил свой рассказ и еще не успел коснуться клавиш, скандинавская румынка, восхищенная этим юношей, который был вдвое моложе нее, но уже имел в своем активе в три раза больше приключений, тут же пообещала познакомить его с директором Датских балетов. Что она и сделала. Артура свели с одним поэтом и с одним художником, а месяц спустя эта троица разродилась балетом, который к концу сезона имел внушительный успех.

Артур Браггл стал если не знаменитым, то все же принятым в обществе.

Но художник и поэт были профессионалами и ничем не могли заинтересовать, помимо своего искусства и честолюбия. К тому же, и это главное, Браггл попрекал их тем, что они оба были образинами. Что же касается румыно-скандинавской дамы, пусть она и слыла записной «авантюристой» и вела, по слухам, весьма насыщенную

жизнь, Артур отнюдь не считал ее яркой женщиной. Впрочем, преуспев в своих устремлениях и добившись всемогущества в театральном-газетном Париже благодаря североевропейскому дипломату, она проявляла хорошо рассчитанную сдержанность, поскольку мечтала завоевать остатки предместья Сен-Жермен, где поначалу ее приняли из любопытства, а затем стали регулярно приглашать, чтобы она всех веселила.

С одной стороны, жена дипломата не обладала ярко выраженным талантом, который позволял бы считать ее художницей (что, кстати, совершенно не удовлетворяло ее в последнем браке), а с другой, не хотела, чтобы ее роль сводилась лишь к развлечению и организации праздников. Поэтому, стремясь выглядеть «знатной дамой» и опробовав различные средства, часть из которых, наверное, можно было на всех основаниях назвать ловкими трюками, она решила, что лучше делать вид, будто интересуешься только деталями, пустяками, сплетнями или тряпками, и с легкомыслием (впрочем, напускным, которое ей казалось признаком подлинного аристократизма) относиться к тому, что прежде считала серьезным и ради чего растрачивала самые ценные политические ресурсы.

Одним словом, она до изнеможения оттачивала успех Браггла, чтобы самой добиться еще больших почестей, но, когда ее поздравляли с открытием нового музыканта, возражала, что ее, дескать, гораздо меньше прельщал его талант, нежели его изящество и милые недостатки его акцента. В общем, популярность Артура, стоившая ей стольких хлопот и интриганских писем (в чем она, конечно, не призналась бы, если бы даже ее

порубили на кусочки), явилась следствием одной из тех прихотей, на которые вплоть до своего успеха она считала способными лишь самых породистых дам. К тому же с некоторых пор, когда ей нужно было высказать свое мнение, кого-нибудь похвалить или похулить и особенно если речь заходила о ком-то или о чем-то ей дорогое, она начинала говорить предвзято, глумливым тоном, с той бесцеремонной непринужденностью, которая позволяла без особого интереса оценивать людей и предметы, предлагаемые ее вниманию, а следовательно, оставаться на высоте своего положения. Отсюда скучающий вид, с каким она, например, смотрела спектакли, которые ей стоило трудов – и немалых! – организовать. Отсюда же то безучастное выражение, что так ловко маскировало ее честолюбивые старания и задним числом наделяло некой привилегией рождения, которая позволяла отомстить всем, кто прежде лишь терпел ее как простую забавницу.

Она производила фурор выбором фривольных эпитетов, обычно приберегаемых для любимого пекинса, которые она внезапно использовала при характеристике человека, вызывавшего всеобщее восхищение. Подобная фамильярность с кем бы то ни было считалась признаком гениальности или, на худой конец, таланта и вынуждала практически уравнивать эту женщину, которую никто не любил и не уважал, с лучшими, тончайшими и сильнейшими умами эпохи.

Поэтому, никогда не отказываясь от столь удачной тактики (с единственной целью – похвастаться успехами молодежи), скандинавская румынка, готовая отдать весь свой каскад из жемчугов за общественное положение, которое, по

собственному дерзкому утверждению, она якобы унаследовала от бабки, таскала мсье Артура за собой по домам, куда он даже не надеялся попасть, когда в Америке пытался по иллюстрированным журналам представить себе Париж с его сливками общества и прочими чудесами.

По правде говоря, Браггла бесило, когда его хвалили за улыбку, а не за музыку, и он также боялся, что его будет сковывать нежно-покровительственное восхищение женщины, открывшей его дар. Разве не твердил он про себя каждый вечер, когда еще жил в пансионе у Ботанического сада:

– Мсье Артур станет золотой молодежью, но мсье Артур всегда будет помнить, что мечтает стать великим художником.

Кроме того, скандинавская румынка заманивала посулами, словно связкой ключей, и у Браггла возникало ощущение, будто он заключенный. С другой стороны, она не спускала с него глаз и не отходила ни на шаг, словно боялась его потерять.

У Браггла даже не было возможности развеяться. Он попытался сойтись с первым танцором, к которому, правда, никогда не испытывал особого влечения: просто неистовая до нелепости страсть старого герцога и толстой перуанки, безумно за него боровшихся, наделила этого юношу в глазах новичка Артура неким авторитетом, который ему хотелось считать авторитетом бесспорным. Однако после нескольких ужинов и вечеринок на Монмартре Браггл окончательно убедился в его глупости и впредь даже не мог выносить его присутствия.

Браггл скучал и поэтому, если только удавалось сбежать из особняка скандинавской румынки (которую он теперь за глаза называл «укротительни-

цей»), прятался в академии, куда приходили рисовать эскизы Пьер Дюмон и Диана Блок.

В общем, Браггл заметил Пьера еще до того, как его заметил Пьер, но, уверенный в том, что его вновь обретенная слава наделяла его положением, которым нельзя пренебрегать, Браггл ни за что на свете не начал бы ухаживать первым. Он ждал ухаживаний от Пьера и без труда его заигнотизировал, чтобы их добиться.

92

Поэтому, когда Пьер, проводив Диану до двери ее дома, развернулся и отправился прочесывать монпарнасские кафе, а затем наконец нашел своего соседа и выяснил, кто он такой, он сел за столик и как бы невзначай задел рукой руку того, кому уже принес Диану в жертву. Ну а Браггл, с радостью чувствуя в каждом жесте робкое признание, соблаговолил забыть о собственной славе и тех препятствиях, которых никогда бы сама по себе не преодолела застенчивость Пьера.

Через час Пьер уже звонил, чтобы отменить ужин. Но не успел он договорить, как в ухо ему впились зубы, а рот зажали пальцы холоднее подошв, стремившиеся предотвратить малейший крик. В ответ на изумление, которое нельзя было выразить, раздался раскатистый смех. Затем включился свет. Браггл был с ним. Пьер хотел отвернуться, но, схваченный за кисти, был вынужден подчиниться желанию, написанному в его глазах. Пьеру показалось, что этот взгляд звериный. Почему-то померещилась еще и надпись «Косолапоград» на стене. Косолапоград, безумие. Глаза Браггла подернулись пеленой. Он испугался, не осознавая страха Пьера. Пальцы медленно разжались. Руки переплелись, ладони сомкнулись. Пьера пробил озноб, а затем он превратился в каплю крови, перелитой во имя новой жизни.

Не в силах взять себя в руки и вновь овладеть своим телом, которого больше не узнавал, он подчинился лицу Браггла – этой кожаной маске, уже коснувшейся его лица.

Лицо Браггла, кожаная маска. Оно было холодным. Пьер видел на нем лишь один глаз, а сам мало-помалу исчезал.

Разумеется, Диана сразу возненавидела музыканта. Но ревность, которая неизбежно проснулась, как только Пьер на следующий день рассказал ей о новом друге, вызвала у Дианы не злость или чувство осуждения, а жалость. Именно к этому времени относятся поцелуи с широко открытым ртом, хорошо рассчитанные бестактности, намеки на его жизнь и предпочтения, призванные, по мнению Дианы, поставить ее на одну доску с Пьером. Если некоторые виноватые и стыдливые женщины считают себя обязанными лгать и подражать добродетели, стремясь снова стать или хотя бы казаться достойными мужчины, которого они любят, то Диана, боясь, как бы раскаяние не отдалило от нее Пьера, вероятно, считавшего ее невинной девушкой, и как бы сам он не почувствовал себя умаленным, пыталась сделать так, чтобы он тоже в чем-то ее подозревал.

Но поскольку слова – вещь легковесная (Диана окончила первый курс юридического и знала, что «*verba volant, scripta manent*»¹), она воспользовалась поездкой, для того чтобы написать Пьеру, что у нее тоже были любовники. Диана решила, что так лучше защитится от себя же самой и навсегда избавится от соблазна в чем-либо упрекать Пьера.

Словом, она смирилась с Брагглом, как смирилась бы с кем и с чем угодно, лишь бы сохранить

1 Слова улетают, написанное остается (лат.).

Пьера. Но Пьер, зная, что она принесла ради него большие жертвы и готова на новые, зачастую не хочет признаваться в своем эгоизме. Например, иногда он соглашается считать себя жертвой и думать, что мечется между Артуром и Дианой, поскольку никогда не мог отличить любовь от дружбы. Это милое оправдание с трудом принимает даже тот, кто придумывает его с определенной целью. На самом деле Пьер возвращается к Диане, лишь когда его не хочет Браггл. Однако, нуждаясь в том, чтобы видеться с ним в те вечера, когда он лишен такой возможности и потому идет с Дианой в театр или терзается в одиночестве, в конце концов Пьер пытается обрести даже в самом мизерном присутствии ту иллюзию, которой так страстно желает. Пока все его существо жаждет слиться, словно по доверенности чувств, с неким другим существом, но только не с тем, кого касается, а с другим – настоящим, отсутствующим, его душа начинает ненавидеть ту душу, которую он никогда не сможет познать, несмотря на желание считать ее осязаемой, осязаемой косточкой человеческого плода. В общем, Пьер довольствуется самыми гнусными похождениями и порой испытывает к ним такое отвращение, что уже начинает верить в некое наказание, добровольно наложенное на плоть. Но окружающим он, скорее, напоминает требовательного зверька.

– *Pierre is like a dog*, – заявляет Браггл.

“*Pierre is like a dog*”. Пьер твердит про себя это оскорбление и злится. Оскорбление, несправедливость. Его обзывают собакой, хотя его возбуждение вызвано беспокойством, и он начинает считать себя жертвой, думать, что, не внуши ему мать своим поведением презрения к так называемому

прекрасному полу, он, возможно, стал бы самым беззаботным и счастливым из ловеласов. Пьеру хорошо известно, что для Артура любовь никогда не утратит ни игривой веселости, ни эстетической убедительности. Молодой американец любит инсценировки с пижамами, поразительными кальсонами и затейливым бельем. Артура слишком сильно интересуют предметы, и он не воспринимает того, что Пьер (не без гордости и с желчной мстительностью, не желая замечать их суетности) именуется «основными проблемами».

Хотя этот милый зверек всегда казался ему таким же изворотливым и красивым внутренне, как и внешне, Пьер знает, что никогда не поймет утверждений, подобных тому, что он постоянно твердит про себя, хотя оно и противоречит его ненасытной потребности в Браггле: «Люди, которые меня преследовали, всегда преследовали меня, подобно мыслям». Браггла пугает жажда самопознания, которую он ощущает в Пьере, и потому он заявляет:

– Ваша с Дианой беда в том, что вы слишком любите копаться в себе.

Наверное, Артур прав, раз уж он счастлив, так хорошо умеет пользоваться вещами и людьми, что превратился бы в рыбу, если бы упал в воду, и никогда не теряет своего оружия – кокетства. Его наивные желания часто приносят ему радость обольщения, которая придает красоту его лицу, где поначалу Пьер замечал только глаза, тут же забывая о слишком простодушной невинности из-за их демонически-мрачного взгляда.

Поэтому тот, кто не попадет на уловки Браггла, никогда не поймет, чем же так обольстителен этот ньюйоркец и почему румыно-скандинав-

ская дама, его «укротительница», предпочла его изящество той балетной партитуре – лишь предлогу, а не подлинной причине его успеха. Браггл обладает силой, не имеющей ничего общего с интеллектом, как мы его понимаем. Его власть, исходя из глубин, превосходит средства осознанного самовыражения, которыми она располагает, так что справедливее и вернее было бы говорить не о сноровке, а о загадочной энергии, брызжущей из него, подобно электрическим искрам, сыплющимся с кошачьей шерсти. Кошка в широких туфлях, которая плавно движется в мешковатом пиджаке: Браггл говорил, что французы любят обувь, а не стопы, одежду, а не тело, и потому делают свои дома из ткани и кожи такими тесными. Утопая в своем реглане, Артур каждым жестом наводил на мысль не о наигранности, которую подразумевала его гибкостью, а о тех самых инстинктах, что приводили к этой наигранности. Наблюдая за его походкой, Пьер часто думал о том, что в танце пантеры всегда проявляются ее дикие и жестокие наклонности.

Диана предпочитает не кошек, а собак, но, даже не будь в ней той ревности, которую она ощущает настолько явственно, что терпит все ее последствия, Браггл ей противен по самой своей природе. Несмотря на все сострадание и желание спасти Пьера от призраков Косолапограда, а также на знание о том, что мадам Дюмон-Дюфур спускает на него целую свору, Диана не может выносить, что Артур (самовлюбленный и наделенный кокетством, изощренным и в то же время привередливым, а потому не лишенным хотя бы относительной целомудренности) обходится с Пьером презрительно, поскольку страх бессонницы, оди-

ночества и темноты толкает его на похождения, приносящие больше раскаяния и неудовлетворенности, нежели удовольствия.

Диана сознает и достаточно сильно страдает от сознания того, что он никогда не обретет надежного пристанища в свежих женских объятьях. И, оправдываясь, возможно, также для того, чтобы не слишком злиться на роль сестры, которую ей приходится довольствоваться, Диана думает, что, обладай он богатырским здоровьем, позволившим ей самой невозмутимо выдерживать рассуждения мадам Блок о самоубийстве мсье Блока, Пьер не стал бы брести куда глаза глядят.

Куда глаза глядят. Ведь он и сам не знает, куда если только не сидит молча и неподвижно на стуле, мучаясь в глубине души под взглядом мадам Дюмон-Дюфур, упорно пышущей жаждой мести.

Жажда мести мадам Дюмон-Дюфур.

Пьер устал.

Он чувствует, что в этой дуэли все силы будут растрчены впустую.

Почему у Пьера никогда не хватает смелости уйти? Был бы самодостаточным! Но ему нужны другие, и Артур тут не спасает. А что касается Дианы, разве он не повторил себе уже сотню раз в течение часа, что не сможет жить вместе с ней?

С кем же тогда?

– Ни с кем.

У Пьера болит голова. Наступила ночь. Мадам Дюмон-Дюфур включает свет и сухо спрашивает:

– Ну что?

Пьер не отвечает. Она обращает его внимание на то, что дала ему время подумать:

– Говори.

– О чем?

Она пожимает плечами под марокканским крепом:

– Ты будешь говорить?

– Мне нечего вам сказать.

– Тебе нечего мне сказать? Ты в этом уверен?

– Абсолютно.

98 Далее следует целая гамма ухмылок. Мадам Дюмон-Дюфур непременно хочет закатить главную сцену и подыскивает хлесткую фразу, которой, впрочем, не находит и, задыхаясь от злости, наконец срывается в штопор:

– Недоносок!

Пьер возражает:

– Согласен, что я недоделанный, но по чьей вине? Уверяю, если бы вас делал я, вы получились бы еще хуже.

– Недоносок! – повторяет мадам Дюмон-Дюфур. – Причем недоносок не по моей вине, а по вине твоего отца, которого ты так считаешь и которым восторгаешься, хотя я столько для тебя сделала, пожертвовала собой...

Пьер смутно предвидит будущую речь и целое полчище ночных кошмаров. Он не вынесет ни того ни другого.

Какую бы ловкость и коварство ни проявила мадам Дюмон-Дюфур, он будет сильным и даже грубым. Пьер хватает худые запястья, которые с удовольствием мнет пальцами, и спокойно, твердо произносит:

– Я запрещаю вам говорить о Косолапограде и полковнике Дюмоне.

Громкий хохот. Мадам Дюмон-Дюфур вырывается, но Пьер не оставляет ей времени на то, чтобы собрать новые силы красноречия.

– Молчите. Я запрещаю вам жаловаться. У вас

нет на это права, ведь в сущности, не сойди ваш муж с ума, вам бы не о чем было болтать со своими подругами и всеми этими старыми сумасбродками типа мадам Блок.

Мадам Блок – старая сумасбродка? Если Пьер хотел быть вежливым, разве он не должен был проявить уважение к своей матери и ее подругам?

Пьер понимает, что она непременно вернется к теме Косолапограда. Он встает:

– До свиданья.

– Ты не поужинаешь?

– Нет, я уйду из дома.

– Что?

– Я уйду.

– Но у тебя нет ни гроша за душой – ни полупенни!

– Браггл помог мне продать картину жене скандинавского дипломата.

– А, понимаю. Мсье хочет жить своей жизнью. Этот твой Браггл...

– Прощайте.

Пьер хлопает дверью. Мчится по лестнице. Он уже на улице. Мадам Дюмон-Дюфур пожимает плечами и вызывает звонком служанку, чтобы та убрала аксессуары и остатки чаепития.

III

УЖИН С ДИАНОЙ

101

На улице Пьер первым делом вспоминает о Браггле. Ноги сами ведут его к телефонной кабинке в ближайшем кафе. Металлические части слуховой трубки позволяют понять, какие горячие у него пальцы. Он запинается, голос дрожит и горит нетерпением. Похожий огонь иссушает уста, что обращают к небесам свои молитвы, но, подобно тому, как земное эхо печально вторит словам, избранным для божества, пока Пьер произносит боевой пароль и цифры, позволяющие связаться с тем, на кого он возлагает все свои надежды, в ушах по-прежнему гремят угрозы. Косолапоград. В одиночку ему никогда не разогнать полчище призраков с гипсовыми глазами и неулыбчивыми губами. Пьер пытался убежать, но из отёйской квартиры за ним следит Мальбрук в юбке, измученный климаксом, пристрастием к домашним хитростям и потребностью довести до конца свою месть. Теперь мадам Дюмон-Дюфур сидела, выпрямившись, на стуле в столовой и высокомерно держала ложку. Ей пришлось быстро проглотить суп – с тем же безразличием, с каким лакедемонский воин ел свою похлебку. Ведь дочь председателя Дюфура напоминала спартанца, и пока она

дышала, ела, пила, говорила или просто шла (а также отдавалась каждым субботним вечером полковнику, мучительно выполняя супружеский долг), она никогда не получала удовольствия от будничных занятий и никогда не забывала о враге, которого необходимо преследовать и победить, пусть даже мадам Дюмон-Дюфур порой и не знала наверняка, кто этот враг. Преследовать и победить врага. Быстро покончив с ужином, она начистила до блеска шпильки на шляпке и воинственно отправилась на поиски союзников. Пьер знает, что она отправится вербовать мадам Блок, попытается околдовать Диану и посоветуется с Брикуле – кузенном Блоков, а также любителем скандалов и экспертом по этой части.

Отсюда необходимость найти убежище. Оно носит имя Браггла, в присутствии которого произойдет чудо, если оно вообще может произойти. Номер телефона – магический «сезам» счастья, дыхание, доносящее волшебные звуки. Когда вспыхивает это пламя, губы одна за другой, словно под действием двух противоположных тяжестей, опадают слабее лепестков цветка, спаленного солнцем. Темная коробка, где заперся Пьер, похожа на аквариум тоски, еще не согретый любимым голосом – нежнее Гольфстрима с его прекрасными изгибами. Телефонная трубка прижимается к уху с жадностью спрута. За шторами сомкнутых глаз – вовсе не ночь, а сиреневое море, и пловцу тишины не дано узнать, какая из напластованных волн убежит. Голубой цвет надежды, красный цвет ярости. Подводные радости и водоросли сомнения задевают и распалывают его нетерпение, и даже человек с закалкой Моисея, говорит себе Пьер, потерял бы рассудок, если бы гром на горе

Синай гремел слишком долго, а затем расколол напополам, словно созревший плод, некое облако, откуда вышел Бог-Отец со скрижалями Завета.

Но внезапно звучит сигнал, кажущийся Пьеру благоприятным, и он больше не сдерживает своей радости, а страстно повторяет звуки, которые позволят дотянуться, достучаться. Дотянуться, достучаться, связаться, снестись. Пьер заговорит, и ему ответят. Его фразы опередят фразы Артура. Их голоса станут взаимно притягивающимися магнитами. Их голоса – канатные плясуны, акробаты с прозрачными сердцами и светящимися руками – понесут их, чтобы соединить в самой вышине небес, где радостно сияет солнце.

У Пьера не хватило бы смелости пойти к Брагглу домой. «Этот твой Браггл», – сказала ему мать таким тоном, словно хотела сказать: «Твой кумир». Да, его Браггл, но не кумир, а бог. Впрочем, Пьер – даже не его творение, а вещь. Пьер всегда ищет его одобрения, как обязательной визы, но взамен не признает за собой никаких прав и не посмел бы прийти к нему домой, пока его об этом не попросят. Однако, несмотря на самоуничтожение и различные помехи, к которым может привести его покорность, Пьер все же радуется и, повторяя боевой пароль и цифры, доволен тем, что боится Браггла, причем настолько, что даже не попытался вступить на путь, кажущийся ему бесконечным. Пьер доверяется не только человеку, но всем людям и предметам, способным приблизить его к Брагглу. Так, например, он отыскал для телефонистки самые нежные слова. Впрочем, следует отметить, что в покорности Пьера она предпочла увидеть лишь иронию и ничего, кроме иронии, а также истовость не очень уверенного в

себе богомольца, что обращается за помощью к святым и блаженным посредникам. В ответ Пьер услышал резкий смешок. Две ледяные капли упали на его жаровню. Тогда его глаза открылись и стали искать что-то утешительное, сначала ничего не нашли в темноте кабинки, где даже не горел свет, но мало-помалу привыкли к потемкам, внезапно царапины на скверной бумаге сложились в рисунок, и на нем проступило лицо Дианы. Лицо Дианы в те дни, когда благодаря ее нежности в душе воцарялось спокойствие и Пьер намекал ей, что в конечном счете она служит лишь банальным лекарством. Уже не способный на самую обычную вежливость, он не удерживал ее, как только переставал в ней нуждаться, вопреки ее желанию остаться еще на несколько минут, а делал все возможное для того, чтобы она ушла, и если она слишком долго выжидала, даже мог грубо ее спроводить. Иными словами, за целый год Пьер проявил к ней меньше внимания, чем к строптивой почтовой служащей за пять минут.

Но, осуждая себя за то, как пользуется Дианой и ее добротой, он тем самым считает непростительной любезность, потраченную на скорейшее соединение с нужным телефонным номером, точь-в-точь как проситель, не достучавшись до небесных заступников, обвиняет самого Господа, к которому не смог или не посмел обратиться напрямую. Пьер смеется над своей суеверностью и уже ощущает готовность отречься от Браггла. Он продолжает испытывать потребность в этом и страх перед этим, подталкивающие его к богоульству, и, наверное, не столь велика жажда мести, как велико желание верить, что за прегрешение против Браггла, пусть даже мысленное, он

будет покаран, причем покаран рукой того самого существа, что гнетет его слишком тяжким грузом. Лишь мучение способно измерить его страсть, и, пока он будет страдать из-за немого божества, пожелав ему смерти, каждая минута тишины будет так жестоко хлестать его, что пустые уши наполнятся пением, которого никто не услышит.

Этот прилив должен унести его к островам бессловесного счастья, но он еще далеко от берега. Сейчас Пьер – узник, отданный на милость телефонистки. Неразборчивые надписи на стенах возвращают ему как никогда острое представление о некоем унынии, которое к нему не относится, но от которого он, тем не менее, страдает. Он хотел утопить Диану на самом дне забвения, но она снова всплыла на поверхность. Однако, не в силах выносить в одиночку слишком тяжелую ответственность за свою неблагодарность, он винит во всем дурное влияние Артура. Почему Пьер, безгранично преданный Артуру и всячески стремящийся найти даже в его молчании и порой слишком грубом смехе новые поводы для восхищения, наконец не признаёт свое чрезмерное уничижение? Он считает, что от Дианы столько же пользы, как от настоя из лекарственных трав, который пьют при бессоннице. Более того, Пьер никогда не возражает против утверждений, намеков и бестактностей, которые девушка сочетает между собой забавы ради, поскольку ей кажется, что они способны поместить ее на тот же уровень, а то и на ступень ниже одного юноши, которого она так сильно любит, что не может смириться с его презрением к самому себе. Но теперь Пьер осознает, что сам он тоже умалывается в глазах Браггла, а также в своих собственных, и наверное, не из-за

своей приниженности, а потому, что дарит любимому человеку то, что считает самым прекрасным подарком: самоуважение.

106

В телефонной кабинке, где нетерпение умножает силу воспоминаний, Пьер вспоминает о том, что всегда и всего стыдился. Стыдился своего неправильного, хаотичного лица, на котором, как ему кажется, лишь один взгляд горит мигающим, но бесспорным светом интеллекта. Стыдился своего тела и, в довершение всего, стыдился комплиментов и желаний, им вызываемых (к примеру, боксерская фраза «Ты тощий как глиста»). Стыдился жестов и любовных телодвижений, потребность в которых лишь прокладывает дорогу для победы отвращения к его потрепанной плоти. Стыдился своих мыслей – пожалуй, самой своей сущности, поскольку неспособен совладать с их внезапностью, потому что порывы осуждения остаются бессильными, а он всегда хладнокровно считал их наилучшими порывами.

Пьер говорит себе, что из-за этого стыда ни один человек, включая Браггла, в котором он, тем не менее, силится найти совершенство, не может ощутить справедливого чувства гордости или уважения к себе. Лишь сравнение, проводимое каждым между своей жизнью и жизнью других людей, позволяет относительно хорошо оценивать себя, но опять-таки – не личность в целом, отдельные элементы которой в силу неизлечимого подражания изменяются при каждой встрече, так что, на самом деле, совершенно невозможно распутать этот клубок реакций. Поэтому тот из двух друзей или влюбленных, кого восторженность действительно возвышает, будет сознательно или неосознанно пытаться принизить себя в глазах другого.

Так Пьер недооценивает себя, дабы восхищаться Артуром. В действительности, если бы он мог судить о нем не по себе, а как-то иначе, то получил бы представление о качествах, свойственных Брагглу, и без труда стал бы их разведчиком. Пьер не ощущает своих границ и потому сомневается в собственном существовании. Он не воспринимает четко ни один из своих инстинктов и стихийных склонностей, но не потому, что их лишен, а потому, что все они кипят в глубине души, хотя ему часто кажется, что он сливается с другими душами и лишь странный полуостров позволяет ему самоутвердиться за пределами всемирного безымянного материка. Тем не менее, Пьеру непросто стать зеркалом, и он всегда отказывался от того, чем Браггл мог его обогатить: Пьер так и не научился у него любить яркие галстуки, длинные и широкие туфли, предметы и жесты, демонстрирующие мужскую власть, и меньше всего остального – любовные телодвижения. Покорив Пьера, Браггл вовсе не развеял его прежний морок. Пьер остается рабом своих слабостей, хотя он и считал, что отдает всё. Может показаться, что ему не хватает органа чувств или антенн, благодаря которым он бы мог понять, в каком счастье Браггл, этот жалкий дикарь, обретает свое достоинство. Самой эгоистичной женщине всегда проще забыть о себе, нежели самому отрешенному мужчине. Пьер, убежденный в своем унижении и готовый ради Браггла вывернуться наизнанку, всегда искал в Браггле лишь совершенство, которым мог бы обладать благополучный Пьер. Но, похоже, общие черты Пьера и Браггла призваны лишь подчеркнуть то, чем они друг от друга отличаются.

Диана же, напротив, никогда не силилась отыскать какое-либо сходство между собой и Пьером, но инстинктивно, а вовсе не из кокетливого расчета, заняла параллельное положение к тому, кого любила. Она до такой степени внедрилась в сознание Пьера, что даже проявилась в каракулях на стенах телефонной кабинки. Этим видением питается его раскаяние, и руки, еще минуту назад горячие, уже леденеют. Они породнились с металлом. Диану окружают венцом обрубки всех тех, кого она знала. Сумбур воспоминаний. Пьер – посторонний, он не имеет отношения к этому зрелищу, не сумел ничего уладить и теперь ощущает растущий стыд. Ему было холодно, но его сердце, которое хотело согреться и просило милостыню у прохожих, получило в ответ лишь отрепья. Пьер дрожит под пестрым нарядом, подобно участникам маскарада на литографии, которые возвращаются домой после бала – на рассвете, когда уже падает снег. Он хотел размышлять и согласовывать, но его пальцы так ничего и не поймали, и мудрость его покинула. Полковник, мадам Дюмон-Дюфур, Диана, Браггл и множество других. В других, а не в себе искал он обещаний радости и мук. Одним словом, Пьер крайне непоследователен и, судя о Браггле по себе, вынужден сегодня признать, что постоянно требовал от других своих собственных способностей. Но поскольку досада – оружие, направленное против тебя самого, Пьер умалывается до того, что считает самую страшную свою депрессию (которую он может легко объяснить какой-нибудь метафизической проблемой) лишь атрибутом опечаленного ума, наследием мадам Дюмон-Дюфур, придирчиво находящей даже в самых незначительных домашних приключениях пищу со вкусом золы.

Кроме того, стремясь вызвать у него жалость к самой себе, а также очернить в его глазах полковника, мать рассказала сыну о собственной брачной ночи и не забыла при этом упомянуть, как полковник, считавшийся человеком воспитанным, укусил ее за плечо и лишил девственности, даже не успев снять сапоги. Теперь всякий раз, когда Пьер припадает губами к чужому телу и испытывает соблазн впиться зубами в плоть или когда устремляется, еще до конца не раздевшись, к чужим рукам, груди, ноге или животу, он готов поверить, как только проходит исступление, что после подобных поступков ему прямая дорога в Косолапоград.

Сила же Браггла, напротив, заключается в том, что в своем эгоизме он естественен, как дитя, – наверное, столь же сложен, но при этом всегда гармоничен. В первые дни знакомства его хорошее настроение наводило Пьера на мысль: «Находиться рядом с этим юношей – все равно что сидеть в теплой ванне». Жаль, что Пьер не всегда помнит об этом впечатлении. Иначе бы он не пытался сравнивать, а поздравил себя с тем, что повстречал человека, способного стать птицей, если захочется взлететь. Тогда бы ему никогда не пришлось озлобляться против себя и тем самым подготавливать триумф Браггла.

Правда, к жертвам, которые, с одной стороны, Пьер приносит Брагглу, а с другой, Диана – Пьеру, к этим добровольным или произвольным ампутациям побуждает не только обожание, доходящее до самоуничтожения, но и расчет на то, что наиболее ревностный из поклонников больше и сильнее возрадуется полученному дару. Чем презреннее нищий, тем прекраснее милостыня. Но

увы, однажды тот, кто умолял взглядом или словами, все еще имея полную возможность упиваться своим горем, доведенный до рабского состояния, должен будет признать, что его вынуждает принять свою печальную участь и желать ее продления лишь страх навсегда остаться брошенным.

110

Ну а пока что Пьер, которому не хватило бы терпения, чтобы прийти к Брагглу домой, обречен топтаться в маленькой кабинке, где барышня-телефонистка растягивает ожидание, наслаждаясь его горячечным возбуждением. У Пьера не осталось иллюзий насчет тех неприятностей, к которым приводит покорность Брагглу, но в ту минуту он все еще радовался. Впрочем, хотя Пьер и страдал оттого, что его не соединяют с требуемым номером (словно сама быстрота соединения с этим проклятым номером зависела только от воли Браггла), он обращал всю свою злость на себя и мысленно твердил: «Я – несчастный паренек, способный лишь построить речь, но неспособный обустроить жизнь». Ну вот он и заговорил словами собственной матери. Жизнь. Учитывая отцовское безумие и ненависть, которую питает к нему мадам Дюмон-Дюфур (из предосторожности она очень долго прятала его под своими унылыми юбками, и, несмотря на отдельные бешеные вылазки, он получил лишь смутное представление о том, что столь же неопределенно именуют «жизнью»), Пьер остался один как перст во всем мире, поскольку Браггл не удостоивал его ответом на звонок, столь трогательный, словно он исходил не из первой попавшейся телефонной кабинки, а с плота «Медузы». И, словно, несмотря на свое заточение в этой коробке, Пьер был еще недостаточно несчастен и мог разъяриться гораздо больше, он

выносит окончательный вердикт о том, что нежность Дианы служит не более чем снотворным отваром и что...

– Алло, – бормочут на другом конце провода.

– Ну наконец-то, алло. Это я, Пьер.

– Привет.

– Я хотел с тобой встретиться.

– Зачем?

– Во-первых, ради удовольствия. А во-вторых, мне нужно спросить у тебя уйму советов.

Браггл на другом конце провода, похоже, вовсе не горит желанием давать уйму советов. Но Пьер спешит перебить целую гамму его равнодушных «ага»:

– Я поспорился с матерью.

– Правильно сделал.

– Рад, что ты одобряешь, Артур. Не хочешь со мной поужинать?

От счастья, таявшего с каждым словом последней фразы, вскоре остается лишь волна, которая разбивается о рифы. В своем ответе Браггл холоднее и тверже скалы:

– Поужинать с тобой? Исключено.

Пьер, забрызганный тоскливой пеной, готов поверить, что у него вмиг побелели волосы, кожа и глаза. Голос его тоже обесцветился:

– Это правда, Артур, ты не можешь со мной поужинать?

Какая трогательная мольба звучит в этих словах! В кои-то веки он исключен из вселенной «Мсье Артур».

– Я не могу поужинать, Пьер, но заходи вечером. У меня будут друзья. А если не хочешь или не можешь ужинать один, позвони Диане.

– Хорошо, Артур. Спасибо тебе, до скорого...

Лишь на мгновение запнувшись, Пьер пробует солгать, впуская кокетничая:

– Знаешь, Артур, я звоню тебе из кабинки, где впервые...

Женский смех убеждает Пьера в том, что Браггл положил трубку, даже не попрощавшись. Но он больше не хочет даже в мыслях упрекать Браггла. Он тут же просит набрать номер Дианы.

– Алло, это я, Пьер. Ты еще не села за стол?

– Как раз собиралась.

– Не хочешь со мной поужинать?

– Хочу. Где?.. Уже иду.

Четверть часа спустя Пьер и Диана с разных сторон подходят к двери ресторана.

– Привет, Диана.

– Привет, Пьер. Неважно выглядишь. Хандра?

Пьер молча берет Диану за руку и пожимает ее – на сей раз без притворства. Они входят и садятся. Диана – счастливая и веселая оттого, что ее называют «мадам», а Пьер – слегка обалдевший от голода и духоты. Он смотрит на Диану, но вскоре перестает ее видеть. В телефонной кабинке скверной настенной мазни хватило для появления образа девушки (хотя, впрочем, удобным предлогом могло послужить что угодно). С тех пор, несмотря на свое отсутствие и на то, что она просто физически не могла знать о его беспокойстве и последующих словах, Диана стала свидетельницей лихорадочного ожидания Пьера и равнодушия Браггла (наложившегося на медлительность телефонистки). Но теперь, когда Пьер, в сущности, избавился от всяких тревог, связанных с Брагглом, и, еще не видя его, был полностью уверен, что скоро окажется рядом с ним, а потому не волновался и не

страдал, между Пьером и Дианой выросла стена, и Пьер знал, что из нее родится новый Браггл, который будет его терзать.

Диана, Браггл, Диана, Браггл. Слова перемешиваются, и точно так же перемешиваются те, кого они обозначают. Запах мяса больше не напоминает Пьеру, что он находится в зале ресторана. Все соответствующие атрибуты – столы, стулья, ска-терти, вилки, ложки, ножи, да и сама ужинающая Диана – разъединяются, а элементы, из которых они состоят, рассыпаются. Стены раздвигаются. Пьер наблюдает за беспредметным спектаклем. Как-то ночью он уже доходил по тропе сна до точки, которую нельзя обозначить ни одним словом.

113

Пьер был одинок и опустошен. Приключение началось, когда из застывшей грудной клетки рубиновыми войлочными птицами выпорхнули легкие. Они взмыли в небесную высь, нежнее ангелов, хотя у этих созданий, как всем известно, нет костей, и грудь, горделивее корпуса новенького корабля, обрадовалась этому, будто наконец потеряла свою слегка нелепую девственность. А солдаты, повстречавшие внизу на дороге необитаемую грудную клетку, подняли глаза к небу, увидели красное пятно на солнце и, грузно отбивая ногами ритм куплета, затянули:

Цвет девичий – что за птица?
В клетке, бедная, томится
И взмывает к небесам
Лишь к пятнадцати годам!

Легкие, девичий цвет, окровавленная птица томится. Клетка пуста, одинока. Тот, кто был в ней заточен, поднялся до самых звезд. Но вот он

уже спускается обратно преображенным, с закрытыми глазами, идеальными чертами лица и щеками, которые с первого же взгляда кажутся нежнее воска, ласкаемого ладонями и губами. Однако чьи это невидимые зубы прогрызают веки, так плотно сомкнутые, что их можно принять за сплошную скорлупу, и тогда из-под них вываливаются глазные яблоки? В темноте, порожденной висками, ноздрями и подбородком, вдруг просиял взгляд – непарный, хотя оба глаза живые. Черты лица окончательно размываются. Напротив юноши с полым телом, в одиночестве и пустоте, остаются лишь два глаза: глаз Браггла и глаз Дианы.

Глаз Дианы – точный и грустный от осознания своей ограниченности, и глаз Браггла – самый прекрасный человеческий глаз, который Пьер когда-либо видел. Глаз человека, но и зверя, которого не в силах приручить сама любовь. Глаз Браггла, маленького дикаря, пахнет лесом, сухим деревом, дождем. Одна капелька его взгляда глубже всех океанов вместе взятых. Глаз Браггла – звериный. Браггл – маленький дикарь. Недаром он смеялся над женой скандинавского посла. Хотя «укротительница» и разбирается в людях, она наконец-то встретила того, кого нельзя одомашнить. Браггл, маленький дикарь, и его вольный глаз. Точный глаз Дианы, грустный от сознания своей ограниченности.

Эти два глаза, зачатые друзья, приближаются друг к другу. Сначала Пьеру показалось, что они подерутся. Они уже соприкасаются, но ресницы не становятся дыбом, нет никаких проявлений враждебности, и Пьер видит, как сквозь глаз Дианы просвечивает глаз Браггла. Затем в одиночестве и пустоте не остается больше ничего.

Нежная лава затапливает все вокруг, и Пьер понимает, что смерть – точка в пространстве и времени, где сходятся, взаимно друг друга уничтожая, все взгляды – взгляды существ, предметов, минут, мест, жестов, сожалений, радости, надежд, злобы, криков, слез, смеха. Остается лишь дыра – белее белого, чернее черного.

Огромные глаза так широко распахнуты, что кажутся пустыми. Браггл бывает таким красивым, лишь когда заблудится в какой-то мгле, а его глазницы глубоко вваливаются, и даже не верится, что такие таинственные впадины могли возникнуть на человеческом лице.

Но хватит ли ему самому, Пьеру, сегодня смелости, чтобы снова стать живым юношей? Он ужинает, не обмолвившись ни единым словом со своей спутницей, хотя ему не хватило бы смелости сидеть одному за столом. Пьер передает перец, соль, блюда такими невесомыми жестами, словно он не человек, а лишь тень.

Он соединяет руки под скатертью.

Станет ли Пьер просить прощения за то, что не оценил по достоинству радости, которыми его хотела осыпать подруга? Радости душевные и сердечные? Пьер ухмыляется. Он больше не верит в возможность радости. Зато он никогда не пресытится своим влечением к Брагглу. Пьер каждый день любит его телом, словно крепким, но гибким, могучим, но тонким деревом. Телом и его лианами – изящными мостиками, что благоухают букетами точных жестов и лепестками голоса. Двумя цветками, похищенными из венка Офелии: его руками. Ну а шаги воспроизводят изгибы самых невероятных растений, отчего ходьба очень быстро превращается в танец.

Влечение, влечение и еще раз влечение – эта заботливая истома, когда, охраняя сон другого, Пьер кладет ладонь на кузнечный мех из прохладной кожи – грудь Браггла, а как только сквозь шторы пробивается заря, смотрит на два слегка выпуклых треугольника нежнее спелых плодов – веки, посиневшие после чувственного пиршества, словно сливы на солнце. Веки и губы бодрствующего задевают спящего с вороватой осторожностью, но, как только ресницы соприкасаются, вдруг пугливо убегают от этих борон, оберегающих людские секреты и прекрасные конспекты: глаза. Этот катогоричный лоб в терпкой рассветной зыбкости, на смятой постели – из какой древесины изваяно его гладкое счастье? Из какой древесины или мрамора? Череп Пьера – унылый домишко из костей под крышей из дрянной соломы. И напротив, голова Браггла, покрытая лаком жестокой невинности, – это храм, украшенный молодостью. Молодость. С нею сливается спящий, которому неведомы кошмары. Браггл – не из тех, кто спокойно дожидается своего часа. Он не умрет, а испарится с дерзким свечением, словно облака, которые, появляясь в знойном и раскаленном полуденном небе, обещают оросить землю, но в сумерках уже не смягчают свинцовый свод, откуда больше никто не надеется дожждаться дождевых ожерелий.

Но поскольку эта свежесть потускнеет еще не скоро, как будто она должна сохраняться лишь для его удовольствия, Пьер убеждает себя, что Браггл, этот маленький дикарь, очень сильно ему помогает, и потому Пьер не позволит унынию выйти сегодня на первый план. Ужин с Дианой (ведь молчит он вовсе не от скуки) служит простым переходом. Это мостик от мадам Дюмон-Дюфур к

Брагглу – от юношеского возраста, испорченного унынием, к подлинной молодости, от мягких сомнений к раскованным радостям. Скоро старые наваждения будут отброшены навсегда. Теперь его позолотит дерзкая невинность – ярче и теплее солнца.

К Диане, ужинающей вместе с ним, Пьера привело лишь горе. Диана – милая зимняя спутница, теневая сестра. Он молча от нее отдаляется, желая верить, что его спасет Браггл – светлый брат. Хватит умиляться над пасмурным небом и мелким дождиком. Пьеру больше не нужна сиделка, которая выгуливает его по безотрадным улицам. Благодаря Брагглу, его страх перед слишком вольным ветром и яростными волнами превратится в ту беспокойную отвагу, что гонит на поиски приключений и придает им вкус.

У Браггла Пьер почерпнет силы для того, чтобы ни в ком больше не нуждаться, и с этого вечера начнется эпоха радости (раз Браггл пригласил его к себе, Пьер старается не вспоминать, что тот сделал это из жалости). Диану, не спускающую с Пьера глаз, уже удивляет улыбка, от которой порозовели его губы. Диана удивляется, но вскоре ей становится грустно и даже страшно. словно мать, которая видит, что ее ребенок вдруг выздоровел, хотя и не замечает ни малейших признаков улучшения, Диана не радуется, а боится, что Пьер, перестав в ней нуждаться, больше не будет ее любить или утратит ту грацию, ту истому, что ее тронула и позволила, как она думает, простой дружбе перерасти в любовь. Диана сидит, положив локти на скатерть и подперев рукой подбородок. Она знает, что Пьер не ответит на вопрос, задаваемый ее молчанием.

Юноша напротив нее с каждой мыслью все больше отдаляется, словно взмахивая веслом. Его несчастный вид, которым она так дорожила из-за множества обещаний, просьб и мольбы о помощи, оказываемой с такой радостью, стал теперь видом отсутствующим. Попробуй она заговорить, Пьер бы ее не услышал. Ну и поскольку Диана больше уже ничем ему не поможет, она даже не подыскивает слова, которые могли бы справиться с его молчанием.

После того как мадам Блок пришла домой расстроенная и начала корить себя за то, что навлекла беду своим вопросом о ненормальности Пьера, Диана поняла, что между Пьером и его матерью наверняка разыгралась семейная сцена. Поскольку Диана не знает, в какой мере мадам Дюмон-Дюфур владеет искусством преследования, услышав голос Пьера по телефону, она подумала, что тот, вероятно, страдает и ее присутствие было бы для него полезным. Скоро ужин закончится, и Пьер проедет сквозь зубы слова прощанья. Он упорно хранит свой секрет, и девушка охотно бы поверила, что он пригласил ее лишь для того, чтобы продемонстрировать вновь обретенное безразличие. Пьер и раньше не жаловался на словах, а лишь брал Диану за руки и прикладывал их вместо компресса к своему горячему лбу, и прохладные пальцы, эти нежные магниты, извлекали из головы вбитые туда гвозди боли. Сегодня, когда от нее больше ничего не требуется, Диана жалеет о выздоровлении больного и одновременно стыдится, поскольку вынуждена признать, что хотела облегчить страдания Пьера не ради самого благодеяния, а из-за той радости, которую черпала в многочасовых утешениях.

Ладони – белые ласточки, свивающие гнезда на измученных висках. Им нельзя дрожать и нельзя быть горячими. Стоя перед зеркалом, Диана выучила гримасу наигранной улыбки. Эта гримаса причиняла ей боль. Как будто она приподнимала уголки рта английскими булавками. Но Диане хотелось верить, что Пьер попадет на удочку, увидев эти радостно застывшие губы. Как только Диана уходила, а он замыкался в собственной боли, не сказав ни одного ласкового слова, она снимала маску, и, посмотрев в зеркало, вдруг замечала, что от улыбки, которую изображала часами, оставались лишь две морщинки. Две морщинки. Диана вспоминала: Пьер сказал ей на прощанье, что проведет вечер с Брагглом, и, хотя она отрицала, что ревнует, после ужина не знала, как быть. Однако ей всегда хватало сил для того, чтобы подавить злобные мысли. Диана лежала в постели, не в силах заснуть, и со стыдом представляла другую постель, где голова Браггла лежала подле головы Пьера, со стыдом думала, что продолжением этих голов служили тела под простынями, одно из которых было ненавистным, а другое – самым любимым на свете. Она впивалась ногтями в ладони, чтобы от боли вырваться из этих желчных фантазий, и заставляла себя забыть о пороках других людей и пожалеть их за страдания. Диана всегда вспоминала клятву, которую дала себе в тот вечер, когда ее мать, остолбенев в кремово-розовом атласном платье, прокричала:

– Дитя мое, твой отец мертв – он покончил с собой.

Она видела, как мужчину вынули из петли и поместили на диван, а гости, чернее воронов, столпились вокруг этой большой негнущейся ку-

клы в клетчатых брюках, рубашке и с высунутым языком. Когда Диану снова уложили в постель, она закрыла глаза, но не спала. Веря, что молитвой можно спасти душу, ребенок сложил руки на груди и, глотая слезы, которых не могли удержать даже сомкнутые веки, пообещал прохладному гипсовому двенадцатилетнему исусику всегда заботиться о несчастных, подобно той женщине из Евангелия, что вытерла своими волосами божественные стопы. Позже, когда прохладный гипсовый исусик остался лишь воспоминанием детства, даже в те минуты, когда мадам Блок искушала ее влечением к смерти, заводя старую волюнку о том, что самоубийство – как рыжие волосы (и так же естественно, как фамилия, которую ты носишь), а Диана говорила про себя, что револьверы нужны вовсе не для отстрела собак и порой куда удобнее жить на шестом этаже, где-то на заднем плане по-прежнему слышался обет, который она дала в тот вечер, когда впервые столкнулась со смертью. Жизнью Дианы все еще управляли верования, которых она уже лишилась. Поэтому, во имя милосердия, коренившегося, скорее, в ее сердце, нежели в катехизисе, откуда она узнала свое божественное имя, в день знакомства с Пьером Диана смирилась с тем, что станет для него заботливой и, возможно, участливой сестрой. Будучи старше на три года, она твердила про себя, что по хронологической справедливости он должен искать у нее помощи, в которой особенно нуждается, учитывая безумие полковника и ненависть мадам Дюмон-Дюфур, тогда как сама она всегда отрицала, что он мог найти в ней нечто способное воспламенить любовь. Но, поскольку Диана инстинктивно отказалась от некоторых еще неизведанных ра-

достей (пусть и не осознавая, что само неведение помогало ими жертвовать), она чувствовала, что имеет право на какую-то компенсацию и пришла к мысли, что тонкая и надежная связь навсегда соединит ее душу и сердце с душой и сердцем Пьера.

Однако за ужином румянец, вдруг украсивший слишком бледные щеки юноши, а также молчание, в котором он замкнулся, и его аппетит уже давали представление о той силе, которую сам Пьер в своем смятении еще не осознавал. Диана почувствовала, что эта сила направлена против нее. И это неизбежно. Она вспоминает, как улыбнулась, когда мадам Блок, схватившись рукой за сердце, со всем возможным трагизмом описывала приход Пьера после заявления мадам Дюмон-Дюфур о том, что он просто «слегка вырожденец». Мадам Блок сказала:

– Он ворвался, как молния, злой и решительный.

Диана тут же откликнулась:

– Бедный Пьеро.

Она не представляла этого юношу злым и решительным. Но теперь Диана понимает, что хотела сказать мать и что она была права. Вот он перед ней, точно гром и молния – бесчувственный, злой, нелюдимый. Диана впервые замечает, что он сжал челюсти и, хотя блуждает в каком-то тумане, взгляд его, тем не менее, тверд. Диана попросту испугалась. Она думает, что в конце ужина Пьер встанет и уйдет. Он уже стал чужим. Завтра Диана останется одна. Ей даже не хватит смелости вернуться в свою мастерскую и продолжить занятия живописью. Она будет целыми днями смотреть, как мадам Блок вяжет и ничего не понимает. Диана не попытается найти замену. Потеряв Пьера,

она не будет стремиться обрести его вновь в ком-то другом. Если удастся его забыть, она станет женщиной со свободным сердцем. Диана будет жить, равнодушная ко всем и вся, лишь где-то в глубине души лелея надежду на возвращение, которая тоже медленно сойдет на нет.

122

Но пока что Диана хочет воспользоваться последней возможностью. Она обвиняет себя в унынии и клянется бороться против невидимого потока меланхолии, так далеко уносящего ее от любимого человека. Зачем говорить о надежде на возвращение, медленно сходящей на нет, если Диана, возможно, еще в силах помешать уходу или хотя бы задержать Пьера? В общем, она будет цепляться за слова, отбирая из всех своих переменчивых мыслей лишь те, что могут служить якорем. И раз уж ее молчание и молчание Пьера разводят их в разные стороны, Диана ищет спасения в первом подвернувшемся вопросе.

– Пьер, что мы будем делать после ужина?

– Пойдем к Брагглу.

– К Брагглу?

– Да.

– Зачем?

– Я должен был поужинать с ним. В последнюю минуту ему пришлось отменить свидание, но он хочет, чтобы я зашел к нему вечером.

– Значит, ты должен был ужинать с Брагглом?

– Да.

– Тем хуже.

– Почему? Ты несправедлива, Диана. Знаешь, какой он милый? Он сам настоял, чтобы я попросил тебя составить мне компанию.

Пауза. Пунцовый Пьер подыскивает доводы.

– Понимаешь, мне обязательно нужно пойти

вечером к Брагглу. Если я не останусь у него, мне негде будет ночевать. Знаешь, я поссорился с матерью.

– Я так и думала, Пьер.

– Тебе мать рассказала?

Диана молча кивает и смотрит на Пьера. По его лицу проплывают трогательные обломки детства. Теперь Диане хочется забыть, что весь ужин ей приходилось объяснять свои опасения странным настроением и молчанием юноши. Она упрекает себя в том, что так спокойно и трусливо поддалась определенным страхам: самое преступное попустительство. Поэтому она жалела о собственной участи, пока Пьер, все еще страдая от угроз, неизменно высказываемых мадам Дюмон-Дюфур, молча терзался. Если бедняге Пьеру удастся избежать адских мук, без конца умножаемых безумием полковника и ненавистью мадам Дюмон-Дюфур, что еще суждено ему вынести? Ведь Диана знает, как плохо и слабо он вооружен для борьбы.

– Мой бедненький Пьеро.

– Не надо меня жалеть, Диана.

– Послушай, если тебе что-нибудь нужно...

– Мне ничего не нужно.

– У тебя хоть деньги есть?

– Что за вопрос? Ты говоришь, как моя мать. Вы, женщины, все одинаковые. Вы запутываетесь в мелочах. Помимо денежных вопросов, для вас не существует больше ничего. Знаешь, малышка, с Брагглом я не буду нуждаться ни в чем. Он уже продал мою картину. У меня в бумажнике лежит тысяча франков.

– Тысяча франков? Что это значит?

– Говорю же тебе, с Брагглом я не буду нуждаться ни в чем.

- Со мной тоже, Пьеро.
- Пьер цедит сквозь зубы:
- Я не сутенер.
- Диана не расслышала:
- Что ты сказал?
- Ничего.

Снова пауза. Поскольку ей нечего сказать в ответ – разве что упрекнуть Пьера в ехидстве или даже дурном настроении, Диана винит себя в бестактности.

124

Хотя не прозвучало ни одного слова, способного подорвать их дружбу, она чувствует, как каждую минуту пока еще молчаливые угрозы нависают все ниже. Тогда она берет на себя ответственность за трусливое прощание или грубое и ненужное объяснение, которое предвещают сотни мелочей, атмосфера ужина и какое-то невыраженное, но реальное предчувствие. Поэтому Диана готова простить враждебность Пьера, уже не зная, как еще можно в ней усомниться. Пусть даже он упорно старается все между ними разрушить, Диана гнушается мелких уловок, представляющих наилучшую тактику в сердечных делах, и, не в силах договориться с самым дорогим человеком или хотя бы достойно ответить на его провокации, сравнивает себя с врачом, не сумевшим отыскать для слишком горячо любимого больного лекарство, которое безусловно прописал бы кому-то другому.

Когда Пьер сообщил, что «должен переночевать у Браггла», она сознательно назвала «гнусной и несправедливой» ту мысль, которую на свежую голову, если бы речь шла не о Пьере, сочла бы «обоснованным подозрением». Наверное, если бы он затем не похвастался тысячей франков в

кармане и не заявил, повторив это с излишней настойчивостью, что с Брагглом он никогда не будет нуждаться в чем бы то ни было, Диана смогла бы удержаться от вывода, что фраза «Я должен переночевать у Браггла» на самом деле означала «Я хочу переспать с Брагглом».

Кроме того, возможно, потому, что Пьер, сознательно или неосознанно, почувствовал это сопротивление, он зашел настолько далеко, что Диане пришлось выяснять, как быть дальше, и признаться к вящей своей беде, что она это знает.

Хотя Диана и страдает из-за расставленных точек над «i», это происходит не потому, что она ревнует сегодня больше, чем вчера, но чересчур прозрачный перифраз, использованный для того, чтобы справиться с последним сомнением, подтверждает агрессивное желание, неизбежно возникающее в глубине души, пусть Диана объясняет и даже оправдывает его. Однако, не в силах отрицать дурные намерения Пьера, она, тем не менее, пытается ухватиться за его последние угрызения. Презируя избитые приемы кокетства, Диана все же доходит до того, что начинает искать полезные средства и способы, как искусственно отбросить подозрения и отсрочить финальную сцену. Поэтому она вспоминает, что детские книжки по нравственности советуют сделать глоток воды, прежде чем рассердиться. Поскольку у Дианы на языке вертятся упреки, она закуривает сигарету и запрещает себе произносить хотя бы слово, не позволяет себе ни единой мысли, враждебной Пьеру, пока не докурит.

Впрочем, она снова становится жертвой своих добрых намерений. Поскольку Диане хватает сил замолчать и напрячь маленькие мышцы, которые

управляют носом, глазами и ртом и тем самым мешают чертам лица уныло обвиснуть, Пьер, так удачно доведший свою спутницу до отчаяния, возможно, лишь для того, чтобы в свою очередь ее пожалеть, чувствует неудовлетворенность, выходит из себя и уже готов утверждать, что в целом она равнодушна. Эта девушка, курящая рядом с ним, у него на глазах, с этой маской добрых намерений на лице так непохожа на ту, что он надеялся увидеть сегодня вечером, и ему уже кажется, что молчание, которым она обороняется от ударов его собственной немоты или от его резких фраз, вызвано не столько страданием, сколько досадой. Пьер даже не далек от мысли, что Диана умышленно принуждает себя к пагубному кокетству, дабы тем вернее разлучить их с Браглом.

...Ведь как бы женщина ни притворялась заинтересованной или сочувствующей, размышляет он, и даже восхищенной (а мы уже знакомы с примерами подобного снобизма), ее тайная гордыня неизбежно начнет жестоко страдать, едва она обнаружит, что дружба двух мужчин перерастает в любовь, которая, по утверждениям лицемеров и невежд, возможна лишь между представителями различных полов. Вопреки своему человеколюбию, Диана только и ждет, когда можно будет облить презрением мою любовь к Артуру, но поскольку ей навязывают чувство, которое она инстинктивно считает невозможным и нелепым, она больше не довольствуется тихой заводью дружбы, чьи безмятежные возможности поначалу ее удовлетворяли. Теперь она уже не столько любит меня, сколько ненавидит Браггла и никогда не простит его за то, что он открыл мне страну великолепных мук – любовь. Впрочем, любая женщина, твердит

про себя Пьер, думала и вела бы себя точно так же. Так, например, румыно-скандинавская графиня, которую Артур называет своей «укротительницей», вовсе не возмущаясь теми жестами, что, по ее представлениям, выражают наши желания, похоже, получает удовольствие от разговоров о них (хотя Пьера это коробит) и, напротив, начинает злиться на любые доказательства того, что речь идет о простых сексуальных фантазиях. Если бы я спал со шпаной, эта скандинавская румынка, исповедующая свободу духа, назвала бы меня очаровательным юношей, обрадовалась и завопила о колоритности, однако узнай она, что я сохну по очень странному юноше, одержим, но не желаю исцелиться, этого она бы уже не поняла.

Так что посторонние верят в порок и ожидают увидеть хорошо разыгранные спектакли или даже, на худой конец, россыпь жестов, которые они с радостью считают столь же греховными и редкостными, как орхидеи Оскара Уайльда, и представляющими аналогичный интерес. Но если вдруг появляется страдание, в котором нет ничего забавного, страдание, не усиленное общественным преследованием, тюремным заключением или атрибутами чистого эстетства, если вдруг появляется бессловесное, молча терзающее страдание, люди, ожидавшие забавных декораций, пикантных анекдотов и скандальных хроник, не прощают любовной страсти этой слишком простой боли. То, что я сплю с Артуром, в сущности, забавляет Диану, но сегодня она обижается на меня за то, что я весь ужин думал только о нем. Она бы смирилась с простым физическим соединением и даже возбудилась от того, что сочла его гнусным или порочным, но хотя она уже сотню раз повто-

ряла, что между ними не может быть ничего, кроме простой дружбы, Диана никогда не смирится с тем, что я люблю Артура, а он любит меня. Она ломает комедию самоотречения, однако на самом деле изобретает или, по крайней мере, ищет способы обольщения, которые заставят меня забыть об Артуре. Под видом лечения она, наоборот, культивирует то, что считает моей слабостью и что столь удачно служит для подтверждения ее мнимой силы. Нередко, даже сегодня, я бывал очень близок к тому, чтобы поддаться. Иными словами, она еще долго будет оставаться на высоте. Но мысль об Артуре вселяет в меня, вопреки воле Дианы, необходимую смелость. Без Артура я бы уже уступил, спасовал перед девичьими руками, согласился с тем, что моя жизнь станет долгим сном рядом с нею. Однако тогда бы я спал в тени другой тени, ведь Диана, завладев наконец тем, ради кого и чего столько месяцев жила, либо перестала бы этим дорожить, либо бросила меня, если не фактически, то, по крайней мере, морально, либо свыклась с тем, что она лишь зеркало (впрочем, это сводилось бы к тому же). И я бы видел в ней как раз отражение своего заурядного одиночества и трусости, связавших ее судьбу с моей.

На самом деле Диана не сильная, поскольку она существует лишь благодаря мне – ради моих наваждений, от которых якобы лечит. Источник того блага, что она желает мне принести, находится во мне, а не в ней: ведь если бы она меня не встретила, то никогда бы не имела о нем представления. И наоборот, Браггла я люблю за то, что он есть. Его суть остается для меня такой же недоступной, как косточка плода. Но хоть я ему подчиняюсь, повинуюсь малейшим его прихотям,

он знает, что мог бы меня сломать. При этом я бы не выдал ему свои секреты, тогда как Диана отдала мне это миндальное семечко не раздумывая. Мы толкаемся, причиняем друг другу боль. Между нами все заканчивается борьбой. Наша любовь – не гниющий кариес. Мы деремся, наши губы в крови, челюсти сломаны, но пульпа ни одного зуба не поражена. Браггл мучает меня, побеждает своим суровым, герметичным умом, и чем больше мы любим друг друга, тем больше враждуем, но никто не хочет, чтобы другой ему покорился. Нужно быть женщиной – Омфалой, чтобы прогнать Геркулеса и с радостью смотреть ему вслед.

Я обязан Брагглу днями оскорблений и ночами выбитых зубов, когда получил представление о собственной свободе. Напротив, если бы я любил Диану (а не будь я знаком с Артуром, я считал бы, что люблю ее, и женился на ней), это была бы такая же пошлая и даже такая же счастливая, а значит, еще более непростительная жизнь, какую может ей подарить любой порядочный юноша – например, первый попавшийся инженер-химик вроде Эдуара Клупиньона, за которого ее сватал кузен Оноре Брикуле. Самолюбие Дианы будет польщено. Раз уж она сама согласилась пойти на эту сомнительную затею с браком, она не сможет больше попрекать меня ни словами, ни интонацией, ни слишком широко распахнутыми глазами: Браггл. Довольно...

– Диана, а ты встречалась со своим инженером-химиком? Ну и каковы его шансы?

Она тушит сигарету и думает, что Пьер ее ревнует, ведь если бы он не ревновал, его бы несколько не интересовал инженер-химик. Значит, Пьер

дорожит ею, и зря она опасалась его равнодушия. Когда он повторяет свой вопрос, Диана улыбается, такая счастливая, что даже не замечает в этом отрывистом тоне и недовольной гримасе досады, вызванной ее предполагаемой гордостью за своего возможного мужа – гордостью настолько сильной, что, стоит лишь произнести его имя, Диана млеет от удовольствия.

130

Она наконец обнаружила под маской того, кого любит и кто любит ее. Диана больше не боится, что его подхватят придонные волны молчания и неясных слов, притворно кротких и убаюкивающих, способных унести его к Брагглу. Наконец-то ухватившись за нечто конкретное, он уже не рискует потеряться. Если бы Клупиньона не существовало, его следовало бы придумать. Поэтому Диана благословляет это неуловимое воспоминание, всплывшее на поверхность, спасительный риф, который одним махом заставил Пьера вспомнить о своем прошлом, о своем истинном «я».

Отныне все, что служило Диане аргументом против Пьера, становится доказательством привязанности. Как глупо было воспринимать каждую фразу трагически, выискивать намерения в самом коротеньком слове! Хотя Диана страдала от мнимой необходимости подтрунивать, во всем этом не было ничего, кроме неумелой искренности. Пьер не скупился на ненужные уточнения, но теперь они казались просто разведкой, позволявшей Пьеру, измученному страстью к лукавому заокеанскому гостю и нежностью к девушке, испытать чувство, которым он дорожил тем больше, чем сильнее его осознавал, – ведь это так естественно.

Диана всегда знала о любви Пьера к Брагглу и никогда не притворялась, что не знает, но сегодня эта любовь кажется такой странной, так мало связанной с тем, каким она хочет видеть Пьера, что Диана считает ее излечимой болезнью. Да и потом – не все ли равно? Разве Пьер не любит ее? Разве он не продолжает расспросы?

– Ну так что же твой Клупиньон? Я хочу знать.

– Ты хочешь знать.

– Да, я хочу знать, как мне быть.

– Ты хочешь знать, как тебе быть.

Диана повторяет его слова, точь-в-точь как нищенка щупает одежду, которую ей только что бросили. Разве не обнадеживает тот факт, что Пьер требует у нее отчета, тогда как сам находится пусть и не в критическом, но все же в трудном положении? Диана обещает ласково-признательным голосом:

– Я все тебе расскажу, Пьеро.

В ответ звучит угроза:

– Ты мне все расскажешь, вот именно, ведь если ты солжешь...

– Но я же пообещала тебе все рассказать. Только не надо больше смеяться над Клупиньоном, это было бы дурно.

– Так ты начнешь или нет?

– Да, Пьер. Во-первых, ты знаешь, что каждую неделю кузен Брикуле приходит и умоляет маму стать его женой. Мне кажется, она и сама горит желанием, но, зная, что я терпеть не могу Брикуле...

– Почему ты его так не любишь? Должен обратить твое внимание, Диана, что из-за своих возвышенных представлений ты просто-напросто ломаешь жизнь своей бедной матери. Если бы

ты имела хоть чуточку сострадания, то сама бы вложила ее руку в руку Оноре. Я уже вижу нашу дорогую Эрминию в кружевах, черном атласном платье, большой шляпе, обтянутой бархатом, с султаном и кружевной вуалеткой, в начищенных до блеска туфлях и с двумя гвоздиками, вставленными в черно-бурую лису. Под ручку с Брикуле она поднимается по лестнице, ведущей в комнату для бракосочетаний мэрии XIV округа. Вечером молодожены отбывают в Италию. Да, Дианочка, будь в тебе чувство долга...

Диана не понимает, почему Пьер вдруг начинает паясничать. Она не знает, над кем он смеется – над ее матерью, Брикуле или над ней самой. Она не находит что ответить, но он говорит:

– Продолжай.

– Ты просишь меня продолжать, а потом снова перебеешь.

– Я тебя не перебиваю. Я высказываю свое мнение. У тебя очаровательная семья. Прямотаки дивная. Почему ты мешаешь мне насладиться ее достоинствами, если сама же первая ими гордишься? Как комфортно будет Клупиньону между Эрминией и Оноре, рядом с нашей дорогой Дианой! Это имя произведет сенсацию в родном городе твоего будущего.

– Пьер, умоляю тебя, во-первых, Клупиньон мне не жених.

– Насчет этого я спокоен. Помнишь его первый ужин у вас, о котором ты так остроумно мне рассказывала?

– Пьер.

– Как ты блистала в тот вечер! Ну, во всяком случае, была воодушевленнее, чем сегодня. Только по твоим рассказам я представил твою мать с

большое рассказ о том, какое место в его жизни занимает любовь, с надуманными фигурными скобками, красными дефисами и клеточками.

Диана говорит очень быстро. Ей снова страшно. Она боится взглянуть на Пьера, а тот ее спрашивает:

– Так ты выходишь за Клупиньона или нет?

– Нет.

– Зря. Он скромный, простой, дельный парень – как раз такой тебе и нужен.

– Пьер, не издевайся надо мной.

– Если бы в глубине души ты не хотела выйти за Клупиньона, то не поддерживала бы эту переписку. Ты даже не вскрывала бы его писем. Но признайся, ты гордишься тем, что инженер-химик присылает тебе отчет о своих сердечных делах. Признайся!

– Послушай, Пьер, давай не будем шутить.

– Давай не будем шутить. Ты прелестна. А кто рассказал мне историю о том, как кассирша порвала себе селезенку? Кто мне сейчас показывает старательно выписанный секретный очерк, посвященный интимной жизни нашего дорогого Клупиньона? Диана, комедия и так уже слишком затянулась. Ты еще не догадалась, что сегодня я сыт по горло нашей ложью?

– Нет никакой лжи. Не надо себя оговаривать. Ты никогда не лгал мне, Пьер, я знаю о тебе все.

– Ты все знаешь. Бедняжка. Уж я-то, во всяком случае, знаю достаточно. Со мной ты смеешься над Клупиньоном, а когда меня нет рядом, ты, наверное, потешаешься с ним надо мной. Расскажи-ка, чем ты его смешаешь?

– Пьер, умоляю тебя.

– Ты говоришь ему, что я люблю Браггла, а этот овернец, наверное, с гордостью думает, что женится на женщине, у которой такие забавные знакомые. Если хочешь развлечь Клупиньона, обрати его внимание на то, что сами инициалы Пьер Дюмон предрасполагают к такого рода похождениям.

– Пьер, прошу тебя, нас могут услышать.

– Нас могут услышать. Ты меня восхищаешь. Из-за трех официантов и двух полупьяных мужичков, которые могут нас услышать, отказываться от необходимого объяснения!..

– Необходимое объяснение? С самого начала ужина ты всеми способами пытался затеять ссору. Сначала ты терзал меня своим молчанием.

– Я терзал тебя своим молчанием – скажешь тоже!

– Пьер, ты насмехаешься, поскольку знаешь, что не прав. Но я хочу забыть о твоих колкостях. Ты несчастен.

– Это не так. Я еще никогда не был таким счастливым.

Диана наклоняет лоб. Он берет ее запястья и сжимает их. Тогда Диана снова поднимает голову, и теперь, глядя ей в глаза, он может бросить еще раз, прямо в лицо:

– Я еще никогда не был таким счастливым.

Диана сжимает губы, но не может сдержать две слезы, медленно стекающие по лицу.

Пьер не видит слез – не видит и не слышит ничего. Он встает, и Диана встает вслед за ним. Они оба на виду, стоят бок о бок, но не соприкасаются, точно сомнамбулы, которые с роковой неизбежностью движутся параллельно друг другу.

Пьер говорит:

– Я знаю, рано или поздно ты выйдешь за Клу-
пиньона или кого-нибудь в этом роде. С романти-
кой покончено. Я не сверхчеловек, Диана, а бед-
ный, возможно, паршивый паренек, но и ты не
амазонка. Если хочешь упорствовать в своем за-
блуждении, если будешь и дальше привередни-
чать, как говаривала моя кормилица, если выбе-
решь непорочность и живопись, то успешно
погрязнешь в целомудрии и дурном настроении.
Незавидная участь. Так и вижу маленькую гости-
ную на авеню д'Орлеан, где ты коротаешь одино-
кие вечера. Вскоре наступит время, когда ты
острижешь свои волосы с проседью покороче и,
больше не решаясь склониться над зеркалом, бу-
дешь ворошить свои воспоминания, пытаясь за-
ставить себя поверить, что твоя юность не была
обманом... Тем не менее, однажды в поезде, кото-
рый повезет тебя в какую-нибудь Флоренцию или
Гранаду, ты невольно позавидуешь счастью своих
соседей-молодоженов и, пожалев о Клупиньоне,
ставшем к тому времени сенатором, наконец-то
по достоинству оценишь световые эффекты в Сен-
Тропе, Понт-Авене и Барбизоне, низкие каблуки,
очки в черепаховой оправе и сказки о любви, за
которой ты так настойчиво будешь гнаться.
Сколько лет еще пройдет, прежде чем ты призна-
ешься, что в глубине души тебе плевать на Ницше
и Канта, на критику чистого разума, восточную
цивилизацию, проблему теней и объемов, Фило-
софию и Искусство с большой буквы?.. Послушай,
Диана, я сказал, что мне надоела ложь. Я уже дав-
но хотел с тобой поговорить, но каждый день от-
кладывал этот разговор на завтра. Я позволял себе
некоторую откровенность, впрочем, относитель-
ную, лишь для того, чтобы лучше замаскировать

правду. Я вовсе не скрывал от тебя своих поступков и своего времяпровождения, но всегда старался, чтобы они оставались для тебя непонятными, чтобы ты не могла догадаться о моих мыслях. Хотя ты знакома с моей жизнью, а я – с твоей, духовно мы остаемся в сущности чужими людьми. Тебе хорошо известно, что я сплю с Брагглом, а я знаю, несмотря на твои слишком хорошо рассчитанные бестактности, что ты никогда ни с кем не спала. Неужели ты полагаешь, что этого достаточно? Наша слабость проявилась в том, что мы отказывались видеть эти противоречия. Потому я так долго и трусливо, стремясь заглушить угрызения совести, заставлял самого себя считать тебя сверхчеловеком, но столь же велико было мое лицемерие, когда я пытался сегодня найти повод для простого презрения. Зачем же ты сама, Диана, рядишь меня в романтические одежды? Ты позволила себе обмануться насчет собственных намерений и до сих пор готова, скорее, умереть, нежели признаться, что послала Клупиньона подальше лишь потому, что на самом деле надеешься когда-нибудь стать моей женой. Ты смеешься над самоуверенностью и спокойствием своего инженера-химика, но в глубине души никогда не желала для нас с тобой ничего иного... Но пришла пора тебе понять, что между нами никогда не будет настоящего, простого счастья, и если бы такое счастье было возможно, слышишь, Диана, ты бы ничего не знала о той сострадательной вере, которой упиваешься, подобно всем тем, кто знает, что их царствие не от мира сего. Да и сам я наконец-то понимаю, что не желал и не поддерживал бы тебя, если бы ты сумела даровать мне тот покой, что беспрестанно сулят твой голос, твои ласковые

руки и твоя нежность... Возможно, потом, когда наши души выйдут за пределы ограничивающей их плоти, нам дано будет слиться в окончательном экстазе, но пока мы еще находимся на этой планете, признайся, ты волей-неволей питаешь лишь презрение к тем, кого удовлетворяют ничтожные радости, которые они вкушают, сидя под лампой в домашних тапках. Но вот ужасное противоречие: у тебя никогда, даже в минуты самой большой любви, не хватало сил желать иных радостей! И хотя мне хотелось бы упиться агонией, хотя я постоянно твержу, что люблю в Браггле лишь потенциальные опасности, я и сам продал бы душу всего за один спокойный месяц с Брагглом. Впрочем, не прошло бы и недели, как я назвал бы его невыносимым, перестань он быть тем диким зверем, которого я боюсь и всеми способами пытаюсь приручить... Диана, я прошу у тебя прощения не за эти слова, а за то, что так долго не решался их произнести. Просто я наконец понял, что дорог тебе, лишь поскольку ты знаешь: я – не для тебя. Мы оба от этого страдали, но если бы все между нами было просто, какими мы были бы заурядными людьми! Увы, мы даже не вправе гордиться своими страданиями, ведь мы получили какое-то представление о величии лишь невзначай, и если бы не судьба, которую мы, впрочем, без конца проклинали, ни у тебя, ни у меня не хватило бы смелости отказаться от спокойной заурядности. Так что поблагодарим наших дорогих отцов: твоего – за самоубийство, а моего – за безумие. Прежде всего, мы смогли увидеть их супруг, каждая из которых была по-своему ошеломлена своею якобы несправедливой участью. Они так и не оправившись от этого – как, впрочем, и мы с тобой. Давай

вместе признаемся, Диана, что наше счастье – в умении драматизировать. Я никогда так не радовался, как в тот день, когда обнаружил, что мой отец утратил рассудок. Все детство я ужасно скучал. Каково же было мое удивление, когда однажды вечером он принялся оскорблять мою мать: «Высоконравственная моя Луиза, лицемерная жаба, ты заразила меня сифилисом через левое ухо!» Мать посмотрела на него в недоумении, а он молча встал и сдавил запястья жены: «Супруга-убийца, гнусная шлюха, ты за это ответишь!» Я задрожал от страха, но в конце концов возликовал, ведь с тех пор у меня в памяти навсегда запечатлелся забавный случай... Позднее, когда тема «отцовского безумия» начала терять свой интерес, меня спасали кошмары: мне преграждали дорогу груди девушек, к которым меня водили товарищи, – груди всех сортов, жалкие и надменные, круглые и длинные, дюжие смуглые и худосочные белые... После пробуждения слишком легко было объяснить, что своим сварливым нравом мадам Дюмон-Дюфур внушила сыну отвращение к женщинам долга, а помешательство полковника – неприязнь к шлюхам, из-за которых этот герой и полководец, видимо, и оказался в незавидном положении на пути в Косолапоград. А потом, Диана, я встретил тебя – свежую, умную и добрую, полную противоположность тем потаскухам, что пытались вызвать у меня желание, но никогда не могли победить мое омерзение, и мне показалось, что я действительно сумею полюбить женщину – тебя. Мне захотелось, чтобы ты родила мне сына, но после одного ночного кошмара я убедился, что представлял ребенка несказанно красивым вовсе не из любви к тебе. С тех пор я пребывал в постоянном

страхе, и, если бы мне хватило здоровья для того, чтобы оставаться эгоистом, я бы не виделся с тобой уже, наверное, несколько месяцев и заставил себя больше о тебе не вспоминать... Правда, я часто говорил себе, что Браггл – это болезнь, а ты лекарство. Но тем самым я лишь подчеркивал, что не желаю выздоравливать... Если бы ты вдруг решила выйти замуж за Клупиньона, я был обрадован возможности тебя презирать и не говорить всего того, что тебя сейчас обижает. Прости, Диана, прошу у тебя прощения. Но, быть может, и сегодняшняя моя бестактность не была искренней. Что, если я все усложнил из страха перед слишком простой истиной? Есть одно обстоятельство, Диана. С тех пор как я познакомился с Брагглом, весь остальной мир, ты в том числе, мне безразличны. Я бы хотел вас убить, уничтожить своими колкостями. Что толку в угрызениях? Речь уже не о моем счастье. У меня больше нет сил, возможно даже, нет больше права на щепетильность. Я тебя огорчаю? Но как могло быть иначе? Скажи мне, что ты хотела бы знать, как быть дальше, и будем считать это желание откровенности признаком нерешительности. Если б ты только знала, каким несчастным я был сейчас в ресторане, сидя напротив тебя! Я не видел тебя, но своим горем ты погружала меня в темноту, обступавшую со всех сторон, и недаром я страдал, ведь я сам был за это в ответе. Ты преследовала меня. Браггл – болезнь, а ты лекарство, но еще раз повторяю, я не желаю выздоравливать. Диана, ты должна меня оставить. Я не хочу выздоравливать, а тебе не все ли равно – спасусь я или погибну? Диана, я больше не могу. Мне страшно. Я даже не знаю, как мне хватило сил на подобную откровенность. Диана,

успокой меня. Я страдаю, Диана, поклянись, что больше не любишь меня, потому что я тебе противен. Диана, повтори, что для тебя не важно, спасусь я или погибну. Диана, Диана, ответь...

Диана не отвечает, и они продолжают двигаться, как сомнамбулы, параллельно друг другу. Их окутывает туман, и в его холодной вате лицо девушки напоминает нездоровый плод. Пьер боится тишины и потому продолжает:

– Если б ты только знала, чем стало для меня открытие этого человека, ведь, куда бы он ни шел, что бы ни делал и ни говорил, он всегда ускользает от упреков и сожалений, точно рыба в воде. Он один находит оправдание в себе самом. Один, Диана. Заслуживал ли я подобного чуда? Помнишь, как я путешествовал с ним в прошлом году? Когда он спал в вагоне в самую жару, такой непорочный, словно был не человеком, а растением, я стыдился своих горячих, некрасивых, пыльных рук. Просыпаясь утром, я не решался открыть глаза, приблизиться к нему, к его теплоте. Он был единственным существом, единственной земной реальностью, побуждавшей меня жить, не пытаюсь оценивать свою жизнь. Когда эта жизнь только начиналась, я боялся, что больше не узнаю того, кто был ее причиной. Я также боялся, что он не узнает меня, не захочет узнавать. Порой в его глазах было столько адского огня, что, казалось, я вспыхну, если он будет смотреть на меня слишком долго. Понимаешь, вспыхну, как солома, от одного взгляда! Но, Диана, мало-помалу я начинал раскаиваться. В чем? Наверное, в том, что причинял тебе боль. В том, что рано или поздно ее причину. Когда я сидел один в комнате и мне грезились глаза Артура, сквозь них просвечивали твои, упрекающие в

том, что я недостаточно их люблю. Однажды ночью мне стало так страшно, что я встал, оделся и помчался к нему. Сначала он заворчал, но потом сжалился, увидев, что я весь съежился от страха. И тогда его пальцы – слышишь Диана? – его, а не твои, исцелили меня. Видишь, он способен совершать такие же чудеса, как и ты. Но ты никогда не сможешь совершать такие же, как он. И я ничего, ничего не могу для тебя сделать. Диана, нам больше не нужно встречаться.

– Нам больше не нужно встречаться, – повторило эхо.

Девушка уходит не глядя, но слышит отрывистую фразу и всхлипы, молящие о прощении. Она сжалится еще раз. Диана оборачивается и видит в паре шагов от себя Пьера, который сидит неподвижно и плачет, обхватив руками голову.

Тогда она тихо говорит:

– Пьер, не надо плакать.

Он цедит сквозь зубы:

– Диана, мне стыдно.

Она назойливо утешает:

– Пьер, не надо плакать. Не надо стыдиться. К чему эти угрызения? Мне не в чем тебя упрекнуть. Я твоя старшая сестра, ты же знаешь, всего лишь старшая сестра.

– Всего лишь старшая сестра. Диана, я не принимаю этой лжи из милосердия. Не могла бы ты поклясться...

– Пьер, не надо просить меня клясться.

– Вот видишь, ты еще меня жалеешь. Но теперь, когда твои добрые намерения стали чересчур прозрачными, я больше не хочу этой жалости. Диана, твоя нежность не утешает тебя и лишь усиливает мое горе.

– Давай не будем говорить о твоём горе. Сегодня ты назвал себя счастливейшим из людей. Тебя ждёт Браггл, иди к нему.

– Я пойду к Артуру, а ты, Диана?

– Я вернусь домой. До свиданья, Пьер.

– До свиданья, Диана.

Две руки соприкасаются, не чувствуя друг друга, холоднее рук мертвеца. Прямая, как жердь, девушка удаляется и уже почти исчезает в тумане. Юноша окликает её, девушка останавливается и оборачивается, собираясь вернуться, но он вскрикнул непроизвольно, а теперь взбешён этим порывом и убегает. Значит, он окликнул её лишь затем, чтобы ещё сильнее подчеркнуть своё желание разорвать отношения. Девушка мгновенно теряет ту внешнюю смелость, что поддерживала её тело. Ей больно, и она сама не понимает где. Ноги еле волочатся.

IV

НОЧЬ, ХОЛОД, СВОБОДА, СМЕРТЬ

145

Вскоре Пьер уже задыхается от тумана, ведь он к тому же не умеет дышать (Браггл повторял это сотню раз), и если бы даже обстановка была благоприятной для бега, после сотни метров гимнастическим шагом он бы все равно остановился. Переводя дух, Пьер озирается по сторонам, словно боится погони. Он не видит ничего и никого. Чувствует себя одиноким, свободным и даже смеется над своими страхами. Диана. Как самозабвенно носилась она за юношей по парижским улицам в десять часов вечера! Впрочем, теперь-то она наконец должна понять, как быть дальше.

Поскольку Пьер с самого детства наблюдал множество сражений на полях любви и дружбы, благодаря воинственному нраву полковника и боевому духу мадам Дюмон-Дюфур, теперь, когда ему удалось бросить Диану, которой он сам же и позвонил, Пьер чувствует себя победителем и считает свои средства идеальными в своей простоте. Он гордится этим, как режиссер полоской, удачно изображающей на черном фоне дерево, дом, гору или пейзаж. Этот ужин с Дианой действительно стал, как Пьер и предполагал, мостиком между мадам Дюфон-Дюфур и Брагглом – между вялыми сомнениями и грубыми радостями.

Пьер сделал свой выбор и с удовольствием отмечает, что наконец-то сделал его правильно. Мадам Дюмон-Дюфур, Диана и Браггл – три вершины треугольника, и Пьер устал переходить от одной к другой. Теперь, когда Браггл охватил его кольцом, он забудет о своих заблуждениях, от которых все больше хирел с каждым днем. В запотевшем зеркале еще и сегодня отражается землистое лицо со впавшими щеками. Раз уж впредь он будет здоровым, пусть отныне изменится и его внешность. Его слишком дорогой Артур больше не должен бросать ему: «Неважно выглядишь», заставляя его так сильно страдать. Остановившись под газовым рожком, Пьер щипает себя за лицо и бьет себя по щекам, пока они слегка не розовеют, а затем, когда поначалу пессимистическое зеркало магазинчика являет ему уже не столь плачевное зрелище, опрокидывает три рюмки виноградной водки за стойкой первого попавшегося бистро, дабы окончательно разделаться с тревогой. Наконец Пьер подзывает такси, и вскоре уже виднеется дом Браггла.

Еще на первом этаже доносящиеся обрывки явы напоминают о ночах в предместьях, о буквах из светящихся пучков над дверьми, о гостиничных вывесках, что гаснут и загораются вновь («строят глазки», как выражается мсье Артур), о бритых затылках, красных шейных платках, сапогах со слишком светлыми суконными голенищами, которые неизменно волновали Артура: глаза его увлажнялись, веки трепетали, словно крылья, а ноздри раздувались двустворчатой дверью, наслаждаясь запахом горячей влаги, пьяной вишни и юной, доступной плоти.

Пьер медленно поднимается на шестой этаж. Сердце очень громко стучит, ведь он представляет Браггла посреди того, что называет с улыбкой, лишь отчасти ироничной, его «сокровищами». Студия освещена венецианскими фонариками, одна стена заставлена бутылками, и здесь же стоит пианола – точная копия «стейнвея», заменившего граммофон и пластинки. Так мсье Артур воссоздал атмосферу тех мест, где собираются боксеришки, сутенеры, шлюхи и хабалки, – он посмотрел на них свежим взглядом, будто на диковины, вызывающие сладострастное влечение, оставаясь при этом диковинами, точь-в-точь как негритянские статуи, психоанализ или остров Сен-Луи.

Пьер никогда не решался попрекнуть Браггла тем, что без обиняков назвал бы дурным настроением или снобизмом. Сегодня эта странность лишь умиляет его, и Пьер даже улыбается, вспоминая нескончаемый ужин Артура и молодого хулигана – «великого артиста», по словам самого Браггла, «который играл на аккордеоне как никто другой».

Этот виртуоз из Ла-Вийет служил в ту пору во флоте и потому мог использовать с наибольшей выгодой свою довольно свежую кожу, сводя с ума тех, кто наливается кровью при виде берета с красным помпоном. К тому же его природная сила ограждала от утомления и угрызений совести, способных свести на нет барыши, которые его молодость, искусство подмигивания и обнадеживающая готовность откликнуться на желание, внушаемое его особой, позволяли увеличить ежедневный заработок в пять су. Военная форма, помогая молодым парням свободно торговать своими чарами, наделяет их анонимностью, и во

время одного увольнения этого приставучего паренька лицемерное достоинство формы побудило мсье Артура, которому нравилось пускать пыль в глаза, повести его в ресторан, куда прежде вход ему был воспрещен из-за брюк, похожих на слоновьи лапы, шейных платков из чересчур цветастого шелкового трикотажа, розовых рубашек и туфель с мудреными союзками. Матросик был сбит с толку ярким светом, важным видом метрдотелей и не знал, как положить на белую скатерть свои лапищи аккордеониста и для чего использовать какую-то поразительную вилку, чтобы не показаться бестолковым и смущенным на фоне Браггла и Пьера, так уверенно орудовавших приборами для рыбы. Поэтому, как только в зал входила женщина или когда приносили блюдо, аккордеонист отмечал с тем пренебрежением, которое невинные и простые души считают признаком непринужденности и свободы:

– Есть лучше, но там дороже.

И всякий раз мсье Артур вторил ему с громким и радостным смехом:

– Когда лучше, то дороже.

После ужина – прогулка на ярмарку, где Пьер не захотел заходить в балаган музея Дюпюитрен, и они воспользовались случаем, чтобы от него оторваться. Пьер, как всегда, инстинктивно отказывался верить в злобное наущение со стороны убегающего друга, к которому он пришел в уверенности, что его ждут. Дверь квартиры была не закрыта, а лишь притворена, и в этой небрежности Пьер усмотрел свидетельство о себе, но в следующую минуту увидел на пороге комнаты Браггла аккордеониста, который танцевал в матросском берете, а мсье Артур стоял с бокалом

в руке и, погрузившись в воспоминания о баре на Кронштадтской набережной, у самой кромки воды, сентиментально бормотал припев:

«Как только плоть твоя заденет плоть мою».

Словно решив говорить и петь только то, что говорил и пел аккордеонист, продолжавший танцевать свой одинокий чарльстон, мсье Артур напевал романс, который выучил французский жиголо одним развратным тулонским вечерком.

149

Браггл заметил Пьера, лишь когда закончил петь.

– Вот те на, Пьер, что бы это значило?

– Ничего.

– Тебе что-нибудь нужно?

– Нет.

– Садись.

– Нет.

– Не упрямясь. Если ты чем-то недоволен, проваливай. Я у себя дома и имею право на свободу. Я люблю, когда его уважают.

– Ты говоришь о свободе, а должен был бы сказать об эгоизме.

– Ой, хватит!

Пьер задышался от слов, путался в предложениях и, света белого невзвидев, начал кусаться, драться и ругаться, так что аккордеонист тут же убрался подобра-поздорову.

Теперь-то уж Пьер пошлет к черту всех этих боксеришек, столь милых сердцу Браггла. Пусть в других местах его и уважали за то, с каким расчетливым кокетством приводил он мнение тяжелове-са, своего добровольного преподавателя физической культуры: «Хоть ты и тощий как глиста, тебя нельзя назвать недоделанным».

Однако сегодня вечером, наконец-то поднявшись на лестничную площадку Браггла и находясь всего в нескольких секундах, в нескольких метрах от любимого человека, Пьер не хочет, чтобы вульгарная пианола обрекала его на беспокойство. Он больше не вспоминает о своей хронической неприязни к матери и выбросил из головы, как скучал вместе с Дианой. Хотя Пьер поссорился с матерью и сбежал от Дианы, ему хочется верить, что он сделал это ради человека, которому смело можно принести в жертву всех остальных. Подобно дымчатому стеклу, любовь Пьера изменила цвет всей его жизни – от самых глобальных мыслей до мельчайших деталей. Но чтобы эта любовь не оказалась лишь жалкой слюдой, он должен себя убедить, что по законам логики, если только не сказать «математики», он имеет право на вознаграждение. Поэтому Пьер ждет, что Браггл еще на пороге каким-нибудь словом или жестом докажет: Пьер недаром предпочел его всем другим.

Пьер подносит руку к двери и стучит костяшками пальцев – почти дрожащих, но не от страха, а от счастья.

В студии танцует около десяти пар. Хозяин дома готовит коктейли, а румыно-скандинавская графиня извивается под звуки томной явы в объятьях какого-то хулигана. Американка очень громко объясняет, что в ее квартире всего две комнаты, но стены одной сплошь утыканы ее серьгами. Она призывает в свидетели Пьера, и тот, даже не успев поздороваться с Брагглом, вынужден описывать нескончаемые ряды венецианского жемчуга, шариков, колец, ромбов, золотых и серебряных зверьков, хрустальных капелек, которые прекрасная заокеанская коллекционерша втыкает попеременно то в штукатурку, то в мочки своих ушей.

Пианола умолкает, и, воспользовавшись паузой, Пьер убегает от американки и подходит к Брагглу, но к ним тут же присоединяется скандинавская румынка, принимаясь расхваливать своего партнера по танцу:

– Его зовут Тоттор, и ему девятнадцать. Подлинное сокровище, к тому же поэт. Впрочем, поэт и хулиган – это одно и то же. Все подлинные артисты – поэты, а все подлинные поэты – хулиганы. Артур Браггл, дорогой, вы – великий музыкант, но, не будь вы порядочной канальей...

– *What is* каналья? – спрашивает Браггл.

Скандинавская румынка улыбается:

– Мой дорогой, каналья – такая порядочная каналья, как вы, – это шлюха с розой вместо сердца. С розой из розовой, золотой или светло-зеленой бумаги. Не правда ли, Пьер? Вы ведь хорошо его знаете. Признайтесь, Артур – шлюха с розой вместо сердца.

Пьер краснеет и молча кивает.

Мсье Артур близок к тому, что он называет «ступором». Он гримасничает. В сущности, мсье Артур не знает, что ему делать – рассердиться или рассмеяться.

– Моя укротительница грубовата, – часто говорит он.

Сколько бы эта беспокойная пятидесятилетняя дама ни втирала в себя огуречное молочко, ни капли не проникает ей под кожу. Создавать и разрушать репутации, двигаться и говорить, как солдатская подстилка, затягиваться «абдуллой», точно упрямый старик своей толстой трубкой, – вот, в сущности, основные ее предпочтения. Но если Пьер утверждает, что, замкнись она в своем снобизме и не будь в ней некоторой «стервозно-

сти», скандинавская румынка была бы совершенно невыносимой, мсье Артур, напротив, считает ее «преднамеренную вредность идиотской» и заявляет, что она «разрушит его репутацию или, по меньшей мере, помешает ему воспользоваться удобным моментом». В связи с этим он поясняет, что, конечно, хочет стать «золотой молодежью», но прежде всего мечтает о славе великого музыканта. Скандинавская румынка прыскает со смеху в густом облаке сигаретного дыма и дразнит Браггла, пока, наконец, с тревогой заметив искорки злости на лице мсье Артура, не успокаивает его фразой:

– Мой дорогой, вы – Красавчик Бруммель танцевальных площадок, – или какой-нибудь болтовней в том же роде.

Мсье Артур все еще боится, что над ним смеются:

– Вы надо мной издеваетесь.

– Нет, мой дорогой.

Тогда он уже без опаски наслаждается комплиментом:

– Красавчик Бруммель танцевальных площадок. Вы и впрямь полагаете, что тамошние заведующие обращают на меня внимание и считают меня элегантным?

– Они вас обожают, мой дорогой.

Мсье Артур в восторге. Красавчик Бруммель танцевальных площадок! Мсье Артуру сопутствует успех. Ему приятно, что люди это осознают, но не нравится, что его называют «шлюхой с розой вместо сердца», – пусть лишь затем, чтобы подвести к констатации: если он имеет успех, значит, он его добивался. Грубость укротительницы – это еще куда ни шло, но согласие Пьера с ее обидны-

ми высказываниями уже приводит его в бешенство. Поэтому Браггл хмурит брови и цедит сквозь зубы:

– Чушь.

Чтобы забыть об этом немом укоре, Пьер одним глотком выпивает коктейль, а скандинавская румынка тем временем продолжает:

– Правда, у меня великолепный партнер? Мы с Брагглом нашли его на танцплощадке у Порт-де-Лила. Не на какой-нибудь липовой, а на настоящей танцплощадке. Угадайте, как она называется? «Карающий кролик»! Правда, милое название? Туда приходят поплясать «щипачи»-педерасты. «Щипачи»-педерасты – невероятно, да? Тоттор – «щипач». Посмотрите, как он элегантен. Танцоры при датском дворе в подметки ему не годятся. У Тоттора есть закадычный друг – «корешок», как он говорит. Если бы вы только видели, как они танцуют – он и его корешок (обожаю это слово!), Арман, которого прозвали Вспоротым, потому что его пырнули ножом возле пупка. Арман – тот коротыш, что стоит возле «стейнвея» вместе с Люка. Послушайте, дорогой Артур, Тоттор с Арманом Вспоротым могли бы подготовить для нас небольшой номер. Они шикарно танцуют вальс. Я сосватаю их директору балета. Это почище Нижинского. Главное – не так литературно... Представляете, этот чертов Люка, который вечно со всеми спорит, сейчас рассказывает всякие небылицы, лишь бы внушить отвращение к нашим друзьям из «Карающего кролика»! Но будь он способен на беспристрастные суждения, он не отходил бы от корешка Тоттора ни на шаг.

Скандинавская румынка окликает через всю студию упомянутого Люка, которого она дотолена ненавидела, поскольку он никогда не подчинял-

ся сезонной смене снобистских пристрастий и не разделял, в угоду нынешним вкусам, восторга своих современников перед курильнями опиума, слишком широкими «оксфордскими брюками» и ославленными танцплощадками.

– Эй, Люка, не жадничайте и поделитесь с нами Арманом Вспоротым! К тому же, у вас нет на это никакого права, ведь вы утверждаете, что любите женщин. *Dear Arthur*, заведите-ка свою пианолу и – вперед!

154

Гости Браггла становятся в круг. Резкий аккорд. Арман и Тотор пошли в пляс.

Мсье Артур считает любые комментарии излишними. Он шикает, и больше ни один звук не заглушает игру пианолы. Опьянев от успеха, Тотор и Арман Вспоротый кружатся и кружатся, прижимаясь друг к другу. Их уносит невидимый поток, они потакают малейшим его прихотям, и, вдруг спохватившись, неразлучная пара, которую не в силах разъединить ни стихии, ни люди, ни музыка, словно сетка, рискующая стать ловушкой для себя самой, выпрямляется, растаптывает безумные искушения и поступью, каждый шаг которой можно отмерять угрозами, проводит смотр своим невидимым, но надежным союзникам. Скандинавская румынка дышит носом и всей грудью, словно укротитель, который жадно вдыхает запахи своих хищников. Браггл изредка закрывает глаза, чтобы затем с удивлением обнаружить, как танцоры взбираются на опасную вершину музыкальной фразы. Побледневший Пьер слушает шепот своего соседа Люка:

– Меня смешит их преклонение перед шпаной. Вы слышали, наша скандинавская румынка заявила, что Арман, дескать, получил прозвище Вспоро-

тый, после того как его пырнули ножом в районе пупка? Не обольщайтесь, этот Арман только что сам мне признался: его прозвали Вспоротым, потому что ему удалили аппендикс, но рана плохо заживала, и остался большущий рубец. Совершенно не понимаю их тяги к окраинам и третъесортным танцулькам для гомиков.

– Я знаю, знаю, – отвечает Пьер, заметив, как Артур посмотрел на Тотора.

Он знает...

155

Артур и Тотор, молодой иностранец и парижский апаш – словно валансьенское кружево, мятные леденцы, печенье мадлен. В «Карающем кролике» танцуют «щипачи»-педерасты. Пьер ухмыляется. Эта скандинавская румынка одурачила бы самого черта, но даже она бывает такой наивной! Тотор и его, как она говорит, корешок, Арман Вспоротый танцуют, точно заводные путаны, куклы из живой плоти, которых гостям Браггла хотелось бы считать опасными. Артур смотрит на Тотора.

Пьера бесит то, что Артур смотрит на Тотора с таким же восхищением, с каким наслаждается мастерами кватроченто, музыкой Баха и уютной метафизикой. Разве весь мир для Артура – не эстетическая игра? Во всяком случае, он никогда не следил за жестами Пьера так пристально, как за жестами этого хулигана. Хотя от ревности у него подступает ком к горлу, Пьер заставляет себя улыбаться, рассуждая, что, если он готов пожертвовать всем миром ради одного человека и простить ему самые тяжкие прегрешения, глупо было бы сердиться, злиться и страдать из-за одного только взгляда. Стараясь быть сильным, Пьер урезонивает себя: если Артур строит Тотору глазки, пускай

забирает этого Тотора и делает с ним, что хочет. Любой жест, любая мысль, посвященная этой надоедливой марионетке, на самом деле не представляет ничего серьезного: так ребенок кладет свою куклу рядом с собой на подушку. Артур, Тотор – уже сами имена заокеанского музыканта и молодой тапетки служат талисманами от злости. Они напоминают Пьеру человечков на кончиках спичек, которыми по четвергам заполнялись страницы иллюстрированных журналов. Эта пианола, эти вальсирующие и зрители, приглашенные скандинавской румынкой полюбоваться их танцем, – все, к чему мсье Артур относился так серьезно, почти страстно, – в действительности было просто наивным ребячеством и никакого иного интереса не представляло.

Эта наивность умиляет Пьера, тем более что Браггл часто журит его чуть ли не с отеческим укором:

– Ты такой инфантильный.

Ну и конечно, Пьер, не умеющий обращаться с предметами и фактами, слишком гордый и искренний, а потому не желающий извлекать из людей выгоду, совсем не далек от мысли о том, что его отдельные опасения и даже общая тоска, которую он вполне мог бы назвать метафизической, с человеческой точки зрения равносильны страху потеряться в Булонском лесу или в Люксембургском саду, когда ему было три года.

В то же время для мсье Артура, который видит, слышит и дышит именно так, как подобает, и потому никогда не сомневается в свидетельстве своих самых верных слуг – органов чувств, все зрелища, звуки и внешность служат проявлениями частных истин. Он никогда в них не усомнится и,

говоря откровенно, с безупречной интуицией пытается их использовать для наибольшего своего удобства. Словом, благодаря тому, что он называет «представлением о реальности», мсье Артур никогда не упускает ни одного шанса. Однако это умение выгодно для себя располагать вещи и людей – признак невинности, которой, как Пьер знает, ему самому никогда не обрести. Браггл всегда будет чувствовать себя комфортно в мире, где обнаруживает комичное равенство, а Пьера умиляет то, что его сравнили с другим парнем, словно пианолу, стоящую в студии, с пианолой на какой-нибудь танцплощадке.

Если Артур выбрал для своей комнаты стол определенной модели, значит, он полагает, что стол этой модели превосходит все остальные. Он не заподозрил бы ни на минуту, что ценность его любимому объекту придает лишь его собственный интерес. Точно так же он оправдывает свои желания, гнев и нежность, хотя эти чувства весьма переменчивы, подчинением некоей иерархии – в духе лубочной картинки.

Отсюда – система параллелей и плоскостей.

Пьеру он без конца приводит примеры. Но сама потребность сравнивать его с кем-то другим доказывает, что, вопреки всей жестокости этой игры, Браггл испытывает к нему нежность, а возможно, и восхищается им.

С другой стороны, Пьер, несмотря на ежедневную покорность, признает за собой обязанности, от которых считает Браггла избавленным. Пьер принимает на себя постоянную ответственность за людей, тогда как Браггл, напротив, не связан никакими наследственными правами. Так дети

древних стран никогда не рождаются свободными и невинными, хотя порой они и становятся невинными и свободными.

158

Иными словами, Пьер ничего не в силах поделаться со своим тревожным удивлением, а Браггл, напротив, остается таким необузданным, что всегда готов остановить натиск беды аргументами элементарной логики. Если он убедится, что в его интересах уступить чужому мнению, то получит удовольствие от подобной безопасной научной теории предметов и событий. Его не запугает ни один мистический призрак. Возможно, по ночам его будут мучить кошмары, но эти страхи останутся без последствий и никогда не протянутся в прошлое или в будущее. Браггл – маленький дикарь, ведь он довольствуется гипотезой, точь-в-точь как негритянка удовлетворяется стеклянным ожерельем. Если же Пьер заведет разговор об опасениях, выходящих за пределы слов, вещей и присутствующих людей, Браггл возразит, что незачем портить себе кровь и что, если человек владеет собой, он никогда не попадет в ловушку столь туманного романтизма. Его самый веский аргумент? Человек произошел от обезьяны. Когда Браггл говорит о дарвинизме и о процессе, недавно спровоцированном реакционерами против молодого преподавателя из Соединенных Штатов, убежденного сторонника теории эволюции, он выглядит так самоуверенно, что симпатии Пьера оказываются на стороне тех, кто верит, что женщина была создана из ребра мужчины, и кто понимает библейские иносказания буквально. Но, как только заходит речь о тайнах духа, этот заокеанский гость, в котором под броней примитивной логики и эстетизма можно, тем не менее, разли-

читать весьма трогательные противоречия, полагает, что приводит неопровержимые доказательства, описывая существование амеб и движение светил, и не хочет даже слушать Пьера, когда тот заявляет, что на самом деле лишь страх неизвестности подсовывает ему научные теории, отодвигая в прошлое тайну, которую древние объясняли, к примеру, тем, что земля стоит на слоне, слон на верблюде, верблюд на черепахе... ну и так далее.

«Чушь», – заявляет мсье Артур. Еще чуть-чуть, и он разозлится. Пьер выслушивает его с таким же умилением, с каким мать внимает ребенку, когда тот читает наизусть басню или пересказывает эпизод священной истории. Пьер улыбается, не обижаясь на мсье Артура за то, что он считает его «таким инфантильным», но Браггл видит в этом порыве свидетельство покорности, признание ошибок или невежества. Словом, тогда как Браггл считает Пьера донельзя «инфантильным», Пьер, со своей стороны, полагает, что следует быть снисходительным к Брагглу, который, возможно, и великий музыкант, однако сохранил при этом простодушие, трогательную негритянскую ребячливость. Но, сколько бы Пьер ни твердил про себя, что Браггл во всем сохраняет невинность новорожденного, он все же страдает от слов и поступков, в которых выражается эта невинность, и ее порой очень легко спутать с бездушием, а то и садизмом.

К тому же Пьер, предпочитая всему остальному в Браггле его молодость, хорошо знает, что эта молодость – вовсе не звериная грация, грубый смех или потребность шевелить руками и ногами, а, скорее, тот розовый эгоизм, что мешает осознавать собственные ошибки и грубости. Поэтому,

демонстрируя совершенно излишнюю неотесанность, мсье Артур убеждается в своей огромной нежности либо ощущает прилив сил, если чересчур подчеркивает равнодушие или беспричинное презрение и, не имея ни малейшего понятия о парадоксе, от всей души радуется, что его называют «Красавчиком Бруммелем танцевальных площадок», поскольку для него очень важно царить над мирком боксеров или «щипачей»-педерастов у Порт-де-Лиля. И всякий раз, когда Пьер называет его мсье Артуром, он вновь «осознает свою важность», и, соприкасаясь с этим «новым осознанием важности», Пьер еще больше страдает от взглядов, речей и жестов, в которых оно проявляется. Кроме того, мсье Артур, заявляющий по любому поводу, что может сам кому угодно «дать урок», не боится публично отчитывать Пьера, позорить его при посторонних и, в частности, упрекать в неуважении к завсегдатаям пригородных забегаловок, куда он, впрочем, таскает его только потому, что не совсем уверен в своем французском и не решается отправляться туда в одиночку. В особенности у себя дома Браггл требует благосклонности и даже уважения к своим гостям с Порт-де-Лиля, высоко ценит их бритые затылки, красные шейные платки, то, как изящно они танцуют вальс, а также их жаргон, тем более что скандинавская румынка, в глубине души очень им почитаемая, называет этих молодых боксеров-гомосексуалистов гениальными артистами и танцорами, поэтами почище Нижинского, которого она считает самым божественным человеком всех времен и народов.

Иными словами, пригласив нескольких снобов посмотреть, как два молодых хулигана извиваются под звуки пианолы, Браггл и его «укротитель-

ница» возомнили себя провидцами, и по окончании танца мсье Артур рассыпается в дифирамбах, а скандинавская румынка чередует выкрики «браво» с возгласами «бесподобно, мой дорогой». Разгоряченные Тотор и Арман Вспоротый кланяются, Браггл достает из кармана великолепный платок (подарок Пьера), чтобы вытереть Тотору лоб, а затем, когда Тотор собирается его вернуть, говорит:

– Оставь себе.

Пьер бледнеет. Вскоре Артур замечает, что он одиноко пьет в углу, с лихорадочным блеском в глазах. Браггл обращается к нему:

– Алло, Пьер, ты заскучал?

– Нет, Артур.

– Почему же тогда ты так скривился? Только не впадай в ступор. Давай, потанцуй немного.

– Да, Артур.

– Неприлично так напиваться, сидя в углу. И потом, ты хотя бы поблагодарил Тотора и Армана за танец. Разве это было не великолепно?

– Да, Артур.

– Почему же ты им этого не сказал? Я не люблю подобной манерности. У парней с Порт-де-Лиля куда больше такта и деликатности, нежели у светской молодежи. Иди похвали их и предложи Тотору написать его портрет.

– Мне некогда писать портреты с твоего Тотора.

– Мой Тотор? Послушай, Пьер, не ревнуй. И не ломай комедию.

– Умоляю тебя, Артур.

– Если хандришь или устал, можешь уйти, но только не порти мне вечер.

– Я не порчу тебе вечер.

– Ты сам это сказал. Лично я уверен, что ты его

угробишь. Лучше бы тебе уйти.

– Ты хочешь, чтобы я ушел, а ты сам остался с Тотором.

– Это тебя не касается. Я имею право на свободу.

– Твоя свобода – это эгоизм.

– Отстань от меня.

– Ты сам первым начал. Я ничего не говорил.

– Ты ничего не говорил, но зато вызывающе молчал. Я хочу, чтобы с моими друзьями обходились вежливо.

– Тотор и Арман – твои друзья? Ты даже не знаешь, кто они такие.

– Я встретил их в дансинге «Карающий кролик» у Порт-де-Лила, – парирует Браггл таким тоном, словно говорит: «Я впервые увидел их на званом вечере у герцогини X или принцессы Y.»

Пьер молчит. Артур продолжает:

– Ну хватит, иди и сделай им комплимент.

– Нет.

– Ты невежа. У тебя нет такта.

– Зато у тебя, наверное, его хоть отбавляй, если ты даришь первой встречной тапетке платок, который подарил я.

Внезапно на лице Артура появляется скверная гримаса: в такие минуты он чувствует, что неправ, однако не хочет этого признавать, не знает как быть и пытается включить свое обаяние. Тогда он обычно говорит о своих правах, называет себя великим артистом, хвастается, что он дикарь и в то же время джентльмен, и повышает тон, выкрикивая «Чушь» или «Хватит».

К ним подходит скандинавская румынка, учуяв скандал:

– Не ладится любовь?

Браггл объясняет все по-своему: у Пьера дрянной характер. Он пытается испортить мне вечер. Не умеет вести себя в свете. Даже не поздравил танцоров и не хочет писать портрет Тотора.

Укротительница пытается уластить Пьера:

– Напиши-ка портрет Тотора, мой дорогой, а я его куплю.

– Я не буду писать портрет Тотора.

– Почему?

– Потому что он мне противен.

– Ему противен Тотор – такой милый парень.

– Умоляю вас, оставьте меня в покое.

– Пьер, ты совершенно не понимаешь своей выгоды. Я продала твою картину. Я о тебе забочусь. У тебя нет ни гроша, но ты дерзишь и не хочешь писать портрет Тотора.

Скандинавская румынка снова пытается его задобрить воркующим голоском:

– Послушай, мой дорогой, эти ребята прелестны.

А затем шепотом, с наигранной нежностью добавляет:

– Позволь познакомить тебя с Арманом Вспоротым. Это сделка. Артур проведет ночь с Тотором, а тебе, для разнообразия, достанется Арман.

Пьер сжимает губы.

Она спрашивает:

– Ну что, идет?

Он упорно не отвечает.

Его оставляют одного. Артур заводит пианолу и танцует с Тотором. Танец Артура и Тотора. Артур и Тотор – эти имена больше не служат оберегами от злобы. Обнимаясь и кружась, Артур и Тотор скоро зашатаются и рухнут в какое-нибудь кресло и в экстазе прижмутся друг к другу на гла-

зах у Пьера, который по-прежнему ищет, в чем бы утопить свою ревность. Артур и Тоттор – это уже не человечки на концах спичек, появившиеся по четвергам на страницах иллюстрированных журналов. Тоттор играет роль кавалера. Сняв смокинг и жилет, Артур прижимается грудью к груди молодого хулигана. Лицом к лицу, ноги переплетаются. Парочка задевает Пьера, и он слышит:

– *Nice trip*. Милый, милый шалунишка.

164

Пьер чувствует в левой части груди сильные удары в ребра – наверное, он перебрал коньяку. Это плохо для сердца. Пальцы Артура соединяются на бритом затылке, а руки хулигана гладят кожу, которую Пьер слишком хорошо представляет себе под шелковой рубашкой. Он залпом выпивает целую рюмку джина и закрывает глаза, но, когда снова размыкает веки, картина не меняется. Желания проявляются лишь сильнее. Подстрекаемый скандинавской румынкой, мсье Артур раздевается до пояса, и в его голый торс впиваются зубы танцора. Тот хмелеет, уткнувшись носом в свежую плоть – нежнейшую повязку для глаз, придающую ему смелости не скрывать своего желания и продолжать танец, который уже никому не позволяет в этом желании усомниться.

Когда пианола умолкает, никто не знает, как разнять танцоров. Все обступают неподвижную и не желающую разъединиться пару. Зубы Тоттора не хотят выпускать добычу – Пьеру знаком ее особенный запах. Мсье Артур вздыхает, его взгляд устремлен в бесконечность. Ему льстит любовное упорство «щипача», и пока его ноги до хруста сжимают ноги партнера, он блаженно подставляет грудь его ногтям. Гости не сводят глаз с этого зрелища. Скандинавская румынка не помнит себя

от восторга. Она назначает Армана Вспоротого арбитром вкуса и млеющим голосом говорит:

– Разве это не прекрасно, мой дорогой? Вы можете гордиться своим Тотором – он просто прелесть!

Американка с серьгами очень громко смеется, дружески похлопывает обоих парней и подбадривает их, словно это такая игра:

– Алло, *boys!*

Тем временем Люка, пожимая плечами, насилу удерживается от комментариев, а Пьер одиноко пьет в углу, довольный тем, что Люка не разделяет ни радости, ни любопытства остальных. Он выделяется печальным пятном на общем фоне. Сегодня день бесконечных прощаний: мадам Дюмон-Дюфур и Диана – ненависть и дружба, и вот теперь Браггл – любовь. Еще несколько капель алкоголя, и Пьер достигнет абсолютного безразличия. Значит, Свобода. И, наверное, скука. Но не все ли равно? Свобода, да здравствует свобода! Для Браггла свобода – это внушать желание несчастному «щипачу». Хотя Пьер старается не ревновать, ему не под силу оценить диковину: этого подозрительно-го юношу откопали где-то на третьесортной танцплощадке. «Есть и лучше, но там дороже», – как говорил аккордеонист, ради которого Артур решил оторваться от Пьера тогда на ярмарке. В тот вечер ему удалось спровадить моряка. Сегодня он будет умнее. Пьер оставляет мсье Артура хулигану из «Карающего кролика». Браггл выбрал для себя новое увлечение. Тем хуже для него: есть и лучше, но там дороже. Пусть теперь не жалуется. У него есть «свобода». И его «свобода» – это танец с Тотором. Его свободу зовут Тотор. У свободы Пьера лишь одно имя. Самое прекрасное из имен. Нет лучше

и нет дорожке. Он не смеет его назвать, хотя уже прощается с жизнью. Еще одна рюмка забвения, и пусть другому кусают грудь, шею, спину, ноги, живот – что угодно. Пьеру плевать. Пьер свободен. Его собственную свободу зовут смертью. Смерть – это самое лучшее, лучше уже не бывает. Вскоре он уйдет один, Сена – недалеко от дома Артура, и там с моста...

– Ну что, мой дорогой, дуемся?

166

Это скандинавская румынка пришла его пожурить. Неужели она не может оставить его в покое? Но она будет порядком разочарована, ведь ей ни за что не вывести его из себя. Пьер уже подыскивает слова для ответа, который застанет ее врасплох.

– Да нет, я вовсе не дуюсь, а просто довожу себя до кондиции. Когда я пришел, мне было грустно. Но я сотворил чудо, и теперь мне весело. Очень весело...

Пьер слышит свой голос. Слова, которые должны были прозвучать воинственно, кажутся фальшивыми, неимоверно хрупкими. Скандинавская румынка смотрит ему прямо в глаза. Если кто-то и боится, то уж точно не она. Она решительно заявляет:

– Артур поразителен, мой дорогой. Недаром он считает себя маленьким дикарем. Какой великолепный хищник! Мне говорили, что он называет меня «укротительницей», но ни вы, ни я не укротим эту пантеру. Только взгляните – он снова танцует с Тотором. Правда, роскошно, мой дорогой?

Артур снова танцует с Тотором. Значит, Пьер не случайно задавался вопросом, как их разнять. Наверное, нужно было от этого отказаться. Артур и Тотор обречены всю жизнь провести в объятьях

друг друга. Почему бы и нет? Так или иначе, есть человек, которому на это в высшей степени наплевать. Это Пьер Дюмон. Парочка снова его задевает. Пьер улыбается. Нет, не улыбается, а вешает на губы улыбку. Диана тоже пришила булавкой напускное счастье. Диана. Ради него, Пьера, лицо девушки пыталось имитировать радость, невозможную из-за него. Он приносил Диану в жертву. Кому? Америкашке, приехавшему во Францию посудомойщиком. Счастье и свобода для него заключаются в том, чтобы танцевать, раздевшись до пояса, со «щипачем»-педиком. Тут и впрямь нечем гордиться. Сегодня Пьер наказан по заслугам. Он нацепил на губы улыбку, но маска слишком прозрачна. Танцующая пара снова его задевает. Похоже, над ним издеваются. Чтобы заставить себя сохранять безразличие, Пьер впивается ногтями в ладони. Капля в море. Зря эта пара приблизилась к нему в третий раз: отказавшись истязать его собственные руки, ногти впиваются в шею Артура, а стопы принимают яростно мстить, не обращая внимания на удивленный ропот, вызванный болью. Наконец разлучившись, Тотор и Артур трясут Пьера, но тот выкрикивает проклятия и не отступает. В дело вмешиваются гости Браггла. Пальцы Пьера вынуждены отпустить затылок, где остаются розовые следы. Пьер белый как полотно, губы дрожат. Скандинавская румынка, в глубине души довольная этой сценой, вовсе не желая чтобы она продолжалась, пытается его успокоить:

- Ну все, мой дорогой, хватит дурачиться.
- Хватит дурачиться? Замолчи, толстая мумия!
- Пожалуйста, будьте вежливы. Вы забываете, с кем говорите.
- Я буду говорить вам все, что захочу. Вы всегда

делали все необходимое, чтобы отдалить от меня Артура. Вы привели эту мерзкую шпану.

– Оскорбляйте друзей Артура, сколько вам будет угодно. Я в ваши дела не лезу, мой дорогой. К тому же Артур – уже достаточно взрослый и свободный человек. Он вправе искать приключения там, где хочет. Я не виновата в том, что вы надоели ему своими девчачьими истериками. Вы хуже маленького десятилетнего ребенка.

168

– Я знаю здесь одного человека, о котором хотелось бы сказать то же самое.

– Артур, вы слышите, как он мне хамит?

Артур уже надел рубашку и вновь обрел чувство собственного достоинства. Он пучит глаза и грозно говорит:

– Теперь, когда вы испортили мне вечер, можете идти, Пьер. Очень плохо, что вы испортили мне вечер.

– Я испортил ему вечер! Вы слышали? Ему больше нечего мне сказать! Я испортил ему вечер! Ты имеешь в виду этих четырех снобов и этих двух опереточных гомиков? Значит, ты никогда ничего не поймешь. Ты будешь обижаться на меня всю жизнь, потому что я испортил тебе, как ты выражаешься, «удобную возможность». Но Артур, ты не знаешь, что есть другие удобные возможности, помимо Датского балета и светских успехов. Артур-Артур...

У Пьера нет сил продолжать. Последние слова были отрывистыми. Теперь он плачет, как мальчишка, и ему стыдно плакать перед скандинавской румынкой и Артуром. Они ухмыляются, а оба хулиганчика смеются над ним и передразнивают:

– Артур-Артур...

Скандинавская румынка уже не ухмыляется, а смеется во весь голос, во всю глотку. Люка заставляет «щипачей» замолчать и затем тихо говорит Пьеру:

– Я отведу вас домой. Нужно немного проветриться перед возвращением.

Завтра ногí его здесь не будет.

Пьер утратил всякую силу воли. Он позволяет себя одевать, как младенца. Люка зна́ком показывает, что уйдет вместе с ним.

169

Пьера выводят. Внезапный ночной холод его успокаивает. Он вздыхает, и Люка пытается его утешить, как здоровый больного...

Пьер безучастно объясняет:

– Если бы вы оставили меня там, я бы ругался с ним вплоть до утра. Я хотел с этим покончить раз и навсегда, но у меня не хватило бы смелости просто взять и уйти. Я был его рабом. Я приводил лживые доводы, пытался заставить себя поверить, что недаром я так сильно его любил. Я нахамил скандинавской румынке, чтобы она меня не простила и никогда не захотела больше видеть. Да, теперь все кончено. Я счастлив и свободен...

Он шепотом твердит фразу, которую произнес, когда Браггл танцевал со «щипачем». Свободу Артура зовут Тотор, есть и лучше, но там дороже, моя личная свобода, лучше не бывает, моя свобода – это...

Но Пьер уже не решается произнести это слово. Крепко придерживая под руку Люка, он умиляется и чувствует, как вновь становится ребенком. Потом Люка ему объясняет:

– Артур вас любит. Это молодой хищник, который ведет себя жестоко из-за своей невинности.

Пьер кивает. Он и сам десятки раз приводил этот аргумент, чтобы не обижаться на мсье Артура. Так и есть: Артур – молодой хищник, который ведет себя жестоко из-за своей невинности. Но если Артур любит Пьера, какое значение имеет все остальное? Пьер уже забывает о своей злости. Он спрашивает:

– Вы уверены, что он меня любит?

Но Люка, воплощенная мудрость, советует:

170

– Дружочек, да наплюйте вы на этого Брагг-ла с его рубашками и аляповатыми домашними халатами. Найдите себе дамочку с претензиями. Трахайтесь спокойно, и дело с концом. Разве не так? Сегодня погуляйте со мной немного, а потом возвращайтесь домой. Проспитесь. А завтра все пройдет без следа. Я вас проведу. Где вы живете?

– Нигде. Как раз сегодня поссорился с матерью.

– Ну что ж, переночуете у меня. Я постелю вам в кабинете.

– Спасибо, Люка, я согласен.

Люка замечает:

– Мы недалеко от «Негритоса». Я схожу за своей подружкой-негритяночкой. Хотите со мной?

Пьер и Люка в «Негритосе». Еще на пороге танцовщица цвета черного жемчуга спрашивает:

– А где ваш американец? Почему вы сегодня без него?

Ваш американец. Снова и снова Артур. Пьер и шагу не сможет ступить, чтобы не встретить одну и ту же тень. Ему уже хочется послать к черту Люка, который нахваливает любопытную негритосочку, объясняя, что ей пятнадцать, что он ее обожает, что ее зовут Джамелина и проч. Но к чему твердить о дикарской натуре Джамелины? Эта пьяная девочка вертит животом, виляет ляж-

ками и стреляет глазами, а затем тянется рукой и всем телом к тому, кого сегодня выбирает ее ребяческая прихоть. Джамилина думает, что весь мир у ее ног, точь-в-точь как некий молодой человек недавно говорил о своей Свободе. Свобода. Что вы делаете со своей свободой, мсье Артур? Несчастный «щипач» неподвижно лежит рядом с вами в вашей постели. Мсье Артур и его «щипач». Наверное, они уже спят. Две восковые куклы. Они бесчувственны, потому что уже умирают. Вот ваша свобода, мсье Артур. Когда-нибудь Пьер перестанет для вас существовать, а вы перестанете существовать для Пьера. Ну а пока нужно запастись терпением и пить. Его сосед Люка бледнеет как полотно, когда Джамилина излишне подчеркивает непристойность жестов. Джамилина, жестокая кукла, и Браггл – игрушка, которой можно долго пользоваться, пока не раскроешь всех ее скверных возможностей. Пусть сегодня Браггла сковал сон, завтра он проснется для новой скверны. Сегодня ночью из-за Пьера плачет Диана и бесится от злости мадам Дюмон-Дюфур. Нигде на земле нет покоя живущим. Перед сном следовало бы вынимать свое сердце из груди, словно бумажник из жилета. Но раз мы на это неспособны, все лишь иллюзия. Танцуй, Джамилина. Страдай, здоровый человек, недавно дававший советы больному. В четыре часа утра эта девчонка жалуется, что не умеет грамотно писать.

– Научи меня грамоте, – просит она, энергично поглаживая разгоряченное бедро Люка. Пьер смотрит, как ее запястье движется туда-сюда, а ногти впиваются в ткань. Девочка причиняет боль, ее отталкивают, она падает, кричит, плачет, ее уводят в туалет и пытаются угомонить.

Пьер один за столом. Он допивает из горлышка остатки шампанского и ждет, пока парочка помирится и выйдет.

– Гарсон, вещи!

Он наклоняется влево и спрашивает:

– Ты идешь, Артур?

Никто не отвечает. Пьер вспоминает... Артур, «щипачи»... Ладно, хватит. Будь сильным. Свободу Артура сегодня зовут Тоттор. А свободу Пьера? Дверь открывается. Да здоровствует тротуар!

172

Одна аптека работает по ночам.

Пьер точно знает, какую дозу снотворного нужно принять, чтобы никогда больше не проснуться.

Он идет напрямиком в аптеку.

С улицы его взгляд приковывают зеленые, красные, фиолетовые, желтые банки – бабочки «мертвая голова».

Пьер входит, покупает лекарство, сжимает его в пальцах и бежит к пустынному проспекту – туда, где есть скамейки.

Он ложится, глотает восемь таблеток, складывает руки на пальто, и ночной холод пронизывает его кости.

Ночь, холод, смерть, свобода.

Пьер вспоминает... уже светает. Одиночество и пустота. На юношу с полым телом устремлены лишь два глаза. Глаз Дианы, ясный и грустный от ограниченности сознания, и глаз Браггла – самый красивый человеческий глаз, с которым Пьер когда-либо сталкивался, глаз человека и в то же время глаз зверя, которого не смогла приручить даже любовь. Пьер просит прощения у глаза Дианы за то, что предпочел женщине зверя. Но маленький дикарь Браггл остается совершенно невинным даже в своей жестокости. Артур. Дуновение воз-

духа. Ничто его не остановит. Прав он, а не Пьер, уже сросшийся с деревянной скамейкой. Горло остыло, тело окаменело, а жалкие кровянистые мозги умирают внутри черепной коробки. Во вселенной остаются заметными лишь две точки. Глаз Браггла и глаз Дианы, уже поглощенные темнотой, приближаются друг к другу, и ярко вспыхивает народный пожар.

В больнице, куда Диана пришла вместе с мадам Дюмон-Дюфур и своей матерью на опознание тела, она увидела такого прекрасного юношу, что заплакала, казалось, не от горя, а от восхищения.

По бокам стояли две матери, выпрямившись в своих черных пальто: мадам Блок распухла от слез, а мадам Дюмон-Дюфур еще больше похудела и скрючилась. Едва она разжала губы, голос ее прозвучал так фальшиво и сухо, что Диана поняла: придется и дальше терпеть эту комедию, которую Пьер добровольно прервал из-за нее. Значит, она никогда в жизни не обретет покоя, в котором застыло лицо самого любимого человека? Смерть, покой. У Дианы разрывается сердце. Ее душат рыдания. Она падает на детский труп – белое на белом, обнимает окоченевшее тело и водит губами по лицу, от которого уже мало-помалу отвыкает.

Приходится ее увести. Мадам Блок и мадам Дюмон-Дюфур хватают ее за руки, и вот они уже у двери. Вдруг Диана бледнеет при виде юноши на пороге и внезапно выпрямляется, готовая укусить. Но, попытавшись вырваться, она тут же останавливается, замечая слезы, которые, подоб-

но ее собственным, прокладывают по лицу дорожки горя. Ее губы еле шевелятся и произносят имя: Браггл.

Браггл.

176

Мадам Дюмон-Дюфур никогда не перестанет верить в собственную добродетель, и, кичась своим траурным крепом, она отходит в сторону и смотрит на Браггла, как на одержимого. Жалостливая мадам Блок видит перед собой только одну задачу – повсюду следовать за скорбящей матерью. Диана и Браггл остались одни, и, увидев, как заламываются от горя руки, красоту которых она считала неотразимой, Диана сжалилась над рыдающим Брагглом ради покойного.

Пьер мертв, а этот лукавый заокеанский гость, столь ненавистный вплоть до сего дня, это создание, отличавшееся невозмутимой дьявольской невинностью, плачет.

Диана слышит, как он причитает:

– Диана, Диана, это единственный человек на свете, которого я любил, единственный, о ком я вспоминал, когда грустил у себя в студии. Диана, Диана, зачем он умер?

Диана не отвечает. Она не знает, зачем ей самой жить дальше. Диана разрешает Брагглу порыдать у себя на плече. Она понимает, что Браггл – тоже жертва. Это ослепленный ребенок. Пьер сотни раз рассказывал ей о том, как Браггл пересек океан в трюме корабля. Он был худым, бедным, обездоленным. Приехал маленьким дикарем, с раскрытыми от удивления глазами, окрыленный всеобщей любовью и желанием, всегда незаурядный и надменный в своих мечтах. Диана вспоминает, как Пьер впервые намекнул ей на свою любовь.

– Ребенок Септентрион танцевал два дня и приглянулся.

Ребенок Септентрион. Пьер мертв. Браггл сбился с ритма. Пьер мертв, а Браггл падает на колени и кладет свои руки на холодные руки того, кто призывал его во сне. Теперь Браггл – тоже пропавший человек. Он снова спрашивает:

– Откуда в Пьере было столько страсти? Почему он считал меня способным на все?

Откуда в Пьере было столько страсти?

Диана чувствует, как в душе Браггла, подобно морю безумия, поднимается отчаяние. Она вновь находит лоб, к которому можно приложить руки, желающие успокоить. Не сумев и не посмев осудить, Диана снова пытается помочь.

**Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют**

178

Гертруда Стайн

ИДА

10 декабря 1936 года Эдуард VIII подписал отречение от престола ради того, чтобы жениться на Уоллис Симпсон. Известие об этом стало мировой сенсацией. История британского короля и его возлюбленной привлекла внимание Гертруды Стайн. Она решила написать роман «Ида», героиней которого стала бы Уоллис Симпсон. Но постепенно замысел книги менялся. Ида все меньше походила на герцогиню Виндзорскую. Она путешествовала по Америке, перебираясь из одного штата в другой, заводила собак, встречала разнообразных мужчин, порой выходила замуж и наконец обрела Эндрю, своего короля.

Эрве Гибер

179

Я И МОЙ ЛАКЕЙ

Очень странные ощущения, когда открываешь посреди ночи глаза и видишь стоящего рядом лакея – в домашнем халате или пижаме, которую я носил, когда был молод, или же голого, с накинутой на плечи меховой шубой, которую я заказал себе, когда ездил в Москву, – лакей смотрит во мраке, не говоря ни слова, сверля меня взглядом поблескивающих желтых глаз.

Эрве Гибер

ЦИТОМЕГАЛОВИРУС

„Цитомегаловирус“ был опубликован в январе 1992 года, всего через несколько недель после смерти Эрве Гибера в больнице, куда его доставили из-за попытки самоубийства. „Слова побеждают все!“, – говорил писатель. Его дневник это подтверждает.

**Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют**

180

Герард Реве

БОГ ОЧЕНЬ ОДИНОК

Запах одежды Мальчика; магия игры света на его волосах; шелест моря; непроходимый лес, в котором живет Беспощадный Мальчик – один, с ним только его брат, чуть старше него; этот набожный лесоруб не подозревает о безмерной моей страсти. Нет нигде утешения. Ветер в верхушках деревьев поет: «Прошло... Прошло... навсегда...» И я больше никогда не смогу выйти из Леса, поскольку хлебные крошки, которые я рассыпал за собой, все до единой расклеваны птичками.

Эрве Гибер

МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

Не сам ли Гибер скрывается за этими странными персонажами, меняющими имена и предстающими в образах юного девственника, пылкого любовника, жертвы землетрясения или ученика, провожающего великого философа до могилы?

Эрве Гибер

181

МОИ РОДИТЕЛИ

Почему двоюродная бабка Луиза перевернула вверх дном квартиру своей сестры Сюзанны? Какие документы она пыталась отыскать, и что было в сожженных письмах? Правда ли, что в них говорилось о постыдном проступке матери Эрве Гиберра? Зачем его отец срочно покинул Ниццу, бросив свой ветеринарный кабинет, парусник, зеленый форд, двух лошадей и невесту? К какому шантажу прибегают родители маленького Эрве, дабы заполучить семейные реликвии? И где спрятано золото, которое то закапывают, то выкапывают, не в силах расстаться с ним? – Для родителей нет ничего страшнее неуправляемой тяги сына к поискам истины.

**Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют**

182

Эрве Гибер

ПОРОК

Гибер показывает нам странные предметы – вибрирующее кресло, вакуумную машину, щипцы для завивки ресниц, эфирную маску, ортопедический воротник – и ведет в волнующий мир: мы попадаем в турецкие бани, зоологические галереи, зверинец, кабинет таксидермиста, открывая для себя видения и страхи писателя и фотографа. Книга, задуманная и написанная в конце 70-х годов, была опубликована незадолго до смерти писателя.

Эрве Гибер

ПРИЧУДЫ АРТУРА

Я хотел рассказать историю святого, живущего в наши дни и проходящего все этапы, ведущие к святости: распутство и жестокость, как у Юлиана Странноприимца, видения, явления, преобразования и в то же время подозрительная торговля зверями. В конце – одиночество, нищета и, наконец, стигматы, блаженство.

Эрве Гибер

183

ГАНГСТЕРЫ

Эрве Гибер написал «Гангстеров», когда уже был болен неизлечимой болезнью. Он ни разу не упоминает ее, но повествование наполнено страхом смерти. Критик газеты Le Monde назвал эту книгу «трактатом о боли».

Эрве Гибер

СМЕРТЬ НАПОКАЗ

Язык и член – полны жизни – оголены, у них нет кожи. Язык – говорит, мокнет в слюне, сосет, входит внутрь и выходит. Член – его едят, он сам ест и льет свое семя. Излияния слов, слюны, спермы. Гомосексуальное тело – анально-фаллическое письмо. Именно тело, конечно же, говорит, пишет, исследуя себя и вписывая себя в текст. Устраивает представления, впадает в истерику, занимается садомазохизмом. Говорит о желании и оргазмах. Раскрывается, рвется, буравится. Описывает свои органы и заставляет играть их, словно музыкальные инструменты. Состоять в садомазохистских отношениях с письмом, – посредством его – вскрывать, препарировать собственно тело и препарировать самое письмо.

Марсель Жуандо

МОЙ БЕСТИАРИЙ

Тесные, дружеские и при этом искренние, лишённые всяких недомолвок отношения у нас складываются только с животными. Они осыпают нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи без счета. Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя, соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем нам кажется. Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.

**Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют**

Эркюлин Барбен

185

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

**Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют**

186

Катрин Колом

ДУХИ ЗЕМЛИ

Древние волны потихоньку разрушают стены замков, деревья плетут заговор, лесные существа, боящиеся света, обступают деревню плотным кольцом, ядовитые пауки бегут с берегов озера на террасы, черви заползают в желудки, и дети-призраки, играющие на зеленых трубах, вот-вот найдут звук, точный, вражеский, от которого дома и церкви рассыпятся до основания.

**Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют**

Гертруда Стайн

187

АВТОБИОГРАФИЯ КАЖДОГО

Окрыленная успехом «Автобиографии Элис Б. Токлас», Гертруда Стайн решила написать сиквел: «И вот приходит время, когда я могу рассказать историю моей жизни». Стайн подробно рассказывает о своей юности, об отношениях с братом. Но особенно ее волнует трансформация собственной личности, случившаяся после выхода «Автобиографии Элис Б. Токлас». Детально описана поездка в США, перемены, происшедшие с Америкой за тридцатилетнее отсутствие Стайн. «Автобиографию каждого» Стайн заключает словами: «Быть может, я – это не я, даже если меня не укусит собака моя, но, так или иначе, мне нравится то, что у меня есть, а сейчас – сегодня».

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications» можно приобрести в *Москве*:

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18
«Москва», ул. Тверская, д. 8
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
«Индиго», ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Dodo», ул. Солянка, д. 1/2, стр. 1

в *Санкт-Петербурге*:

«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор
«Свои книги», ул. Репина, д. 41 (во дворе)

через *Интернет*:

«Ozon» ozon.ru
«Лабиринт» labirint.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

в *Украине*:

«Либра» librabook.com.ua